



Виктор Ремизов

# Кетанда

# Виктор Владимирович Ремизов

## Кетанда

*Текст предоставлен издательством*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=171122](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171122)*

*Кетанда.: Время; Москва; 2008*

*ISBN 978-5-9691-0367-2*

### Аннотация

Это крепкая мужская проза. Трогательная, иногда тревожная, но всегда чистая и лиричная, написанная с большой любовью к изображаемому и героям. В классических по форме рассказах нет ничего замысловатого или нарочито занимательного. Ничто не отвлекает от сущностного – автора интересуют люди с их простительной растерянностью перед жизнью. Возможно поэтому, даже экзотические места, где происходит действие рассказов (астраханские плавни, таймырская тундра, прибайкальская тайга или родная автору Волга), выглядят очень естественно.

В книге совсем нет отрицательных героев. Оказывается, жизнь может быть сложной и интересной и без них.

# Содержание

ОТЕЦ	4
КАРТИНА	25
НОСКИ БЕЗ РЕЗИНОК	41
ПОСЛЕ ГРОЗЫ	63
ГУСИ-ГУСИ, ГА-ГА-ГА...	71
Конец ознакомительного фрагмента.	93

# Виктор Ремизов

## Кетанда

### книга рассказов

## ОТЕЦ

Еле заснул Витька. Ходики тикали. Дед то затихал, то начинал громко храпеть в горнице. Витька переворачивался на другой бок, койка покачивалась и скрипела железной сеткой, а он все представлял себе завтрашний день. И улыбался, и шептал что-то в темноте.

Проснулся поздно – солнце вовсю светило в окна. Слез с кровати и, придерживая слетающие трусы, побежал в уборную. Дед уже дал зерна курам, подметал двор, пыхтя бело-мориной. Он его каждый день подметал и поливал водой – жара стояла. Витька вышел из уборной, бухнул дверью и закрыл на вертушку. Дед не любил, когда было не закрыто.

Он пробежал мимо дедовой метлы, но, понимая, что зря торопится и времени еще полно, задержался на крыльце:

– Дед, я цыганки нарву курам. И веников... Дед перестал мести. Недоверчиво поднял бровь.

– Где ж ты веников возьмешь? Ты ж говорил, что больше нет нигде?

– К мельнице схожу, мы с Колтушей червей копали, там полно.

Он забежал в дом, нашел рубашонку и, надевая ее, глянул на будильник. Было полшестого. Заскочил на всякий случай в горницу. Ходики показывали тридцать пять минут.

Он метнулся в сарай, схватил серп и полетел по улице. Стадо уже прошло. В дальнем конце пылило. Свежие лепехи блестели на солнце, и Витька старался не вляпаться. Перепрыгивал и делал зигзаги, как на велике. Он и всегда-то был шустрый и шагом ходить не любил, а тут торопился от радости, переполнявшей его изнутри.

Витька жил в городе, и каждый год его отправляли на лето к бабушке. Он был сообразительный и симпатичный мальчонка: черненькие глазки, темненький чубчик и чуть оттопыренные уши. Рассудительный такой, совсем, как дед. Но росточка небольшого. На их улице только сосед его Сашка Колтунов был ниже. Наверное, поэтому их и не пускали на речку. Соседские пацаны, когда хотели, бегали купаться, а Витька целыми днями слонялся по двору.

Но этим летом ему исполнилось шесть. Мама приезжала на день рождения с маленькой сестренкой, и они все вместе ходили на Гнилушу. Мама стояла по колени в воде, купала Светку, которая еще ничего не понимала, а только таращила глаза и плескалась. Мама видела, что он совсем уже большой. И хорошо умеет плавать. По-всякому – по-собачьи и на спинке... И разрешила ходить с ребятами.

А сама почему-то каждый вечер плакала с бабушкой. Витька думал, что она боится за него и, пока она гостила, на речку не ходил.

Но когда мама уехала, Витька с Колтушей облазили всё. И Гнилушу, и Казачку, и даже ездили, когда дед давал свой велосипед, на дальние омота на Хопре. У Колтуши был подростковый «Орленок», а Витька засовывал ногу под раму и крутил, изогнувшись, дедов.

Витька принес много травы. Этого хватило бы на два дня, но дед всю ее связал пучком и повесил в курятник. Витька обычно такие вещи не пропускал, но теперь снисходительно смолчал – у него было очень хорошее настроение, а дед был не в духе. Все делал медленно, думал о чем-то и курил одну за другой.

Потом Витька долго ел оладьи с молоком. Поставил перед собой будильник и ел. Оладьи подгорели. Некоторые прямо дочерна. Всё из-за деда, понимал внучок. Он, когда с травой вернулся, слышал, как они опять ругались с бабой.

Они обычно очень смешно ругались, Витька в это никогда не верил. Баба чаще всего что-то тихо и сердито выговаривала деду. А ему и было за что. Пойдет в магазин за молоком – бидончик молочный забудет, вернется, бидончик возьмет, гаманок с деньгами оставит. И смех и грех – совсем из ума выжил. Дед ей не отвечал. Смотрел, как телок, улыбался глупо, и только кивал своим большим носом. Вроде как: давай, говори-говори. А то брал в охапку и прижимался щекой ей

ко лбу. И пел какую-нибудь самодельную частушку:

Ой, ты Верочка моя,  
Вера Златова,  
Что ж не любишь ты меня,  
Конопатого!

И смешно притопывал ногой. И баба переставала ругаться, улыбалась и толкала деда в толстый живот.

Но в этот раз дед за что-то ругался на дочь, а у бабы слезы текли по-настоящему, и оладьи пригорели.

В девять Витька отыскал деда в сарае. Тот, надев очки на резинке, подшивал валенок.

– Дед, пойдём на станцию встречать... пока дойдем.

Дед доделал отверстие в толстой подметке, воткнул шило в верстак, долго смотрел на дырку, потом поднял голову на Витьку. Глаза за очками были большие и ненормальные, как у совы.

– Рано еще... я вот... надо нитку эту дотянуть, не бросать же. – он засунул толстую иголку в только что сделанное отверстие. – Дойдет он, не маленький. Иди-ка, посмотри, что нанесли-то? Слышишь, пестрая орет. Опять где-нибудь снесла?

Витька любил собирать яйца. Пеструха была у них одна, неслась коричневыми яйцами и редко когда в гнезде. Интересно было искать. Но не сейчас.

– Я тогда один пойду, – начал Витька строгим голосом, но

дед неожиданно легко согласился.

– Иди. Только через пути не ходи.

– Витя! – позвала бабушка с крыльца.

– Чего? – он шел к ней, а сам думал, поехать на велосипеде или пойти пешком. На велосипеде хорошо было бы.

– Иди рубашку чистую надень. И сандали... где сандали-то дел?

Пока умывался, надевал рубашку и искал сандали, времени совсем осталось мало – поезд приходил в девять двадцать пять. Витька схватил велосипед, выкатил за калитку, закрыл ее и, встав на педаль, начал уже было толкаться, как увидел, что заднее колесо гремит по земле ободом. Он изругал деда, который обещал, да не заклеил камеру, и, совсем уже торопясь, покатил негодный велик обратно во двор.

Он пробежал их улицу и свернул к станции. Дома кончились, тропинка, слегка петляя, вела сквозь высокий зеленый бурьян с шершавыми листьями и колючими шишками, из стволов которого они делали копья, когда играли в индейцев. Заросли тянулись до самых железнодорожных путей.

За одним из поворотов Витька увидел отца.

Он шел с рюкзаком за плечами и удочками в руках. Витька надал еще и с разбега кинулся к нему на шею. Прижался крепко к колючей щетине, потом отстранился, посмотрел в улыбающиеся, темно-карие, такие же, как у него, глаза и поцеловал. Сначала одну щеку, потом другую, потом – подумал еще, что совсем, как малыш, – но много и часто в под-

бородок с ямочкой. Маленький, он так его целовал. Сначала его, потом маму, потом снова его. Отец улыбался, крепко прижимал сына и слышал, как стучит его сердечко.

Домой Витька вел отца за руку. Рассказывал про все. Как он плавает, про рыбалку, как они с дедом ходили, да ничего не поймали, и все оглядывался на драчуна Сашку Гомона – тот подсматривал, спрятавшись за калитку. Отец у Витьки был большой и сильный. И удочки были настоящие, бамбуковые. А у Гомона вообще отца не было. Был, правда, старший брат, но и тот одноногий. На костылях.

– Здравсте, Вер Иванна! – Отец, нагнувшись, вошел в кухню.

Бабушка, подняла на него глаза, в которых почему-то стояли слезы, закачала головой – ой Миша, Миша – и ушла в горницу. Деда дома не было. Ну совсем дед бабу довел. Совсем разругались. Даже отцу вон жалуется. Витька нахмурился, показывая отцу, как он недоволен. И руками развел.

День тянулся долго. Они накопили червей на завтрашнюю рыбалку, запарили зерна на прикормку, приготовили удочки. Камеру заклеили. Два раза ходили в магазин. Деда так и дождались. Вечером уже пошли на старицу купаться. Колтуша не пошел – больной лежал, с горлом.

Витька первым разделся и забежал: вода была парная. Прямо горячая. Он нырнул и немного проплыл под водой, потом попробовал на размашки, но так у него не очень хорошо получалось, и он немножко хлебнул и закашлялся. Отец

поймал его за руку, посадил на шею и поплыл на глубину. Он всегда так делал. Мама боялась, а Витька совсем не боялся. Отец плыл почти без напряжения, отфыркивался и широко загребал руками. К берегу они возвращались рядом. Витька по-собачьи, а отец на боку. Следил за ним. Показывал, как надо грести по-морскому.

– А маму ты почему не научил плавать? – спросил Витька, когда они обсыхали на травке, на вечернем солнышке.

– А? – отец задумчиво глядел куда-то в золотистый лес на другом берегу.

– Мама же совсем не умеет плавать. Научи ее! Отец задумчиво посмотрел на сына, вытер руки о траву и достал сигареты.

– Да, – как будто согласно кивнул и опять посмотрел на Витьку так, будто никогда его не видел. И потрепал Витькин чубчик.

Они полежали молча.

– Ты на них не обижайся, – вспомнил Витька про деда с бабой, – они со вчерашнего дня ругаются. Как дед с почты вернулся, так и ругаются. Наверное, он опять пенсию потерял. В тот раз почтальон принес, он ее засунул в коробку с гвоздями и забыл. А все ругал бабу, думал, что она спрятала. И сейчас тоже... маму ругает чего-то. Мама не сказала, когда приедет?

– Теперь уж когда забирать тебя будет. Одевайся, пойдем.

Пока они шли, солнце село и стало быстро темнеть. Окна

зажелтели в избах. Дымом потянуло от летних кухонь, щами и картошкой. Люди вечерять садились.

Витька шел и думал, как они сейчас вернутся и тоже сядут за стол. Он очень любил гостей.

Весело бывало. Дед все время говорил тосты, шутил, пел нескладно, но так громко, что баба в сердцах одергивала его, чтоб не мешал. А сама пела хорошо. Красиво. Как мама. В конце концов дед совсем напивался и, когда всё убрали со стола и садились играть в карты, всё время проигрывал. Витька и сейчас ждал, когда они сядут играть. Он бы сел в пару с отцом. И отец увидел бы, как он хорошо играет.

В доме было темно. Баба лежала в горнице с полотенцем на голове. Дед был в сарае. Свет у него горел. Витька забежал.

– Дед, ну вы что! Отец же приехал! – зашипел строго.

Дед ничего не делал, просто сидел, задумавшись у верстака. Встал при виде Витьки, посмотрел на него и снова опустился на табуретку. Витька подошел, присел деду на колени, обнял рукой за шею. Дед всегда любил такое, но теперь только прижал его к себе и даже не улыбнулся. Они еще посидели, потом погасили свет и вышли на улицу. Отец курил на завалинке. Поднялся навстречу тестю.

– Здорово, Федор Савелич!

– Здорово, зятек, – дед подал руку, на которой не хватало двух пальцев. – В саду пойдем сядем, мать расхворалась вон. Давай, Витька, помогай. Там она наготовила.

Они сели за стол под старую яблоню. Мужики выпили по полстакана. Закурили молча. Витька ничего не понимал. Отец-то и всегда был молчаливый, но деда не угадать. Молчит как в рот воды набрал.

Витька болтал ногами под лавкой и наблюдал, как мошки от лампочки падали в холодец, в горчицу и деду в стакан. Комары звенели, он смачно хлопал по голым коленкам и чертыхался по-взрослому. Думал, что бы такое можно было рассказать. Хотел рассказать деду, куда они завтра пойдут рыбачить, даже уже и рот открыл, но почему-то не стал.

– Ешь, чего не ешь, – ткнул дед культяшкой в тарелки, – бабка кому готовила.

Налил еще водки.

– Ну, давай, с добрым свиданьем. – сказал ехидно и, не дожидаясь отца, выпил. Свернул пучок зеленого лука, положил на хлеб и, придавив сверху салом, откусил сразу половину. Стал жевать, глядя на стол.

Витька взял пирожок, разломил, внутри была капуста с яйцом. Он встал и пошел на кухню за молоком. Заодно налил и квасу в большую кружку, чтобы с мужиками чокаться. Возвращался обратно осторожно, стараясь не плескаться.

– Чисто кобель ты, Миша, люди так не делают, – услышал негромкий, строгий голос деда, – человеку терпелка на что-то дана.

Когда Витька допил молоко, его отправили спать. Да ему и самому не интересно было. Даже скучно немного. Дед шу-

ток не шутил, частушек не выдумывал, а наоборот, как будто ругался на отца. Как на маленького. Говорил, что теперь все с жиру сбесились, рассказывал, как на войне тяжело было, как он раненого командира с поля боя вынес, тряс оторванными пальцами. Витька все эти рассказы знал, да и отец тоже. Отец молчал, катал хлебный катушек по клеенке. Один раз только поднял на деда глаза:

– Не поймешь, ты меня, Федор Савелич, чего и говорить-то об этом.

– А о чем тогда?! – взъярился дед. – Давай о бабах! По-видал их! От тебя не отстану! Да только не упомяну ни одной, слава те Господи! Нет их в моей старой жизни, понимаешь ты, я думал сегодня об этом – совсем нет! А старуха моя есть! Дети! Внуки вот! Ты этого не понимаешь! Разбросался! – Дед отвернулся в сторону, но тут же снова прищурился на отца. – Ему-то, – ткнул он в Витьку, – что скажешь?! Ты же для этого приехал?! Скажи! Я послушаю!

Тут Витьку и отправили. Отец отвел.

Проснулся он первым. Не по будильнику. Сам встал. Когда за окнами чуть засерело. «Как раз», – понял, и растолкал отца.

Свежо было. Край неба за селом, в той стороне, куда они шли, только-только начал светлеть.

Когда Витька ходил с Колтушей, они всегда загадывали, если до Гнилуши успеют, пока солнце не выйдет, будет клев. Иногда и бегом приходилось навернуть. А последний раз

Витька потихоньку загадал, если успеют, то отец приедет, как обещал. И отец приехал.

Но сегодня они успевали. А от Гнилуши до Хо-пра рукой подать. Дед рассказывал, что Гнилуша раньше была Хопром, но потом отделилась и сделалась Гнилушей.

– Дед совсем без памяти стал, – вздохнул Витька, копируя бабу, – то у него на войне плохо, то хорошо... Напился и врет деду Ефиму, что он двух командиров на себе нес. И оба живые. И что ему потом два ордена выдали. А он же одного. И того всего изрикошетили. Сам мне говорил, что он специально его себе на спину положил, чтобы не убило. Вот и не убило. Только руку и плечо. И ногу.

Он посмотрел на отца. Отец был большой. В два раза сильнее деда. Если бы он воевал, орденов у него больше было бы.

– Прав твой дед, сынок. – Отец шел, не глядя на сына. Прищурился куда-то в конец улицы. – Все правильно. И ты его слушайся. Вырастешь, тоже... наверное, поймешь. – Он замолчал на минуту. Витька видел, что он еще что-то хочет сказать, но не говорит. – И про войну тоже. Ты вон своего другого деда и не видел... Убило его.

Помолчали. Молча шагали. Каждый о своем думал.

– Как же убило? – спросил вдруг Витька. – Баба Настя маме говорила, что он вас бросил к другой женщине. И письмо она получила от другой женщины?

Отец остановился, отпустил Витькину руку и полез за

«Примой».

– Не бросил. Может быть... искалечило его, вот он и не захотел возвращаться. У него, вроде, ног не было. Я не знаю. Маленький тогда был. Как ты. Не видел я никаких писем.

Отец прикурил, взял Витьку за руку, и они снова зашагали.

– А как же деда Петя?

– Но... он же тебе неродной.

– А тебе родной?

Отец улыбнулся, было, но Витька был серьезен.

– Ну... родной, конечно. Мама за него замуж вышла, и он нас вырастил. Но... мой отец-то... настоящий. деда Вася.

Витька помолчал, соображая.

– Все равно. – добавил упрямо.

– Что все равно?

– Он мне тоже родной.

– Кто?

– Деда Петя! А деда Вася мне неродной. Я же его не видел!

Рыбак на велосипеде обогнал их. Длинные удилища, подвязанные к раме, вздрагивали тонкими кончиками. Звонкок на кочках позвякивал сам собой.

Они и не заметили, как миновали старицу и теперь шли по лесной дороге к Хопру. Лес был дубовый, просторный, залитый свежим утренним солнцем. Узорчатые тени падали под ноги. Витька скакал, стараясь попадать на солнечные пятнышки. Вдоль дороги росла высокая трава и цветы. Су-

хощавый, невысокий мужик, голый по пояс, косил недалеко.

С-с-ши-н-нь. С-с-ши-н-нь. С-с-ши-н-нь. – отдавалось в лесу. Когда они поравнялись, мужик перестал косить, оперся двумя руками на черенок и стал смотреть на них. «Завидует, – понял Витька. – Видит, что мы на рыбалку идем».

– А ты косить умеешь? – спросил он отца.

– Умею.

– А картошку окучивать?

– И картошку.

– Я тоже умею. Мне дед маленькую тяпку сделал. Мы с ним. Баба не может. У нее ноги больные.

Кузнечик с треском вылетел из травы, сделал длинную дугу и сел прямо перед Витькой на чистую, укатанную до черного блеска колею. Витька коршуном на него упал, да промазал, стал красться и еще раз промазал. Кузнечик улетел далеко, и Витька вернулся к отцу.

– Синекрылка, – сказал он, сделав безразличное лицо, – на таких не клюет. У них яд коричневый. Надо желтокрылок наловить зеленых. На них клюет.

– А что же на них клюет?

– Как что? Ты не знаешь?! – Витька забежал вперед, заглядывая отцу в глаза. – Язи! Голавли! Хочешь наловим? Под мостом полно голавлей. Вот такие.

Они отошли от дороги и стали обследовать луг. Роса еще не высохла, кузнечики были вялые и не спугивались. С трудом поймали они три штуки. Витька поймал синекрылку.

– Ты же говорил, они ядовитые?

– Ну пусть, – Витька осторожно, чтобы другие не вылезли, засовывал серого толстопузого кузнеца в спичечный коробок. Кузнечик сердито шевелил усами и пускал коричневую слюну.

Вскоре дорога спустилась в прибрежный ивняк, резко запахло речной свежестью, и отец с сыном вышли на реку. Берега были высокие, кудряво и густо заросшие ивой, черемухой, дубами и огромными старыми тополями.

Неглубокий пережат перед ними радовался солнечному утру, болтал о чем-то и весело скакал по цветным камешкам и золотистой ряби песка. Тихие камыши, прибрежная трава искрились росой. Из гулкой тишины леса раздавался крик кукушки. Отец щурился на воду, на солнечные зайчики и чуть заметно улыбался. «Кукушку считает, – догадался Витька, – загадал чего-нибудь и считает».

Река неторопливо закручивала мягкие водяные травы, и вскоре уходила в дремотный и ленивый омут. Ласточки падали с золотых небес в лесную тень, чиркали клювиками по гладкой поверхности и снова радостно взмывали выше высоких тополей.

Витька видел все это сто раз, но все же стоял, держа отца за руку, и ждал, пока тот насмотрится.

– Во-он там, – показал он на другой берег. – Там лещей ловят. Мы с Колтушей пробовали, но у нас удочки короткие. А у тебя же длинные?

Отец снял брюки, посадил сына на шею, и они перешли. Вскоре тропинка вывела их на укромный тенистый песчаный пляжик, еще мокрый от утренней росы.

Отец размотал и забросил донки, повесил маленькие колокольчики, и они уселись на бревнышко. Витька совсем как взрослый подпер кулаком подбородок и решил терпеливо ждать – понятно же, что большая рыба быстро не клюнет.

Он следил за длинненьким ивовым листочком, который, изогнувшись, лежал на поверхности, почти ее не касаясь. Сначала листочек медленно, как гордый кораблик, плыл по течению, потом попал в водоворот и теперь кружился в растерянности. Не зная, как выбраться. Отец курил и тоже смотрел на листочек.

Он хотел сам все рассказать сыну. За этим и приехал. И вот теперь не мог. В городе много раз представлял себе этот разговор. Думал, посадит сына напротив себя, возьмет за плечи и поговорит. И все объяснит. Но у него и там-то, когда Витьки не было рядом, ничего не получалось. Он представлял наивные любящие Витькины глаза и дальше этого не мог двинуться в своем объяснении. Вся его решимость насчет своей новой любви и новой семьи куда-то девалась.

Можно было, конечно, ни с кем не видеться. Ни с Витькой, ни со Светкой, которая своей крошечной любовью и радостью просто выворачивала его наизнанку, но так он не мог. И к Витьке ехал, надеясь, что тот его поймет и простит, и они договорятся видеться как можно чаще. И у него подни-

малось настроение, и он сам начинал верить, что они будут видаться часто. Почти каждый день.

Он курил, чувствуя, как подрагивают руки, посматривал на сына и мысленно разворачивал его для разговора, но Витька почему-то никак не разворачивался. Листочек выбрался и уплыл уже за кувшинки, и теперь Витька вцепился взглядом в тонкую темно-синюю стрекозу с бархатными крылышками. Он сто раз пытался поймать таких, но они все время летали над водой. Витька быстро глянул на отца – не поможет ли, потом снова на стрекозу, но, вдруг бросил ее и уставился на отца. Станный он был сегодня. Не похож на самого себя.

Отец отвернулся и полез в рюкзак. Ничего ему там не надо было. Он пошарил бесцельно и, совсем уже не выдерживая, встал и пошел по тропинке.

– Ты куда? – зашептал Витька.

– Сейчас, – ответил отец, не оборачиваясь. Витька стал внимательно смотреть на донки.

Хорошо, если бы клюнуло, пока отца не было. Он бы сам вытащил. Донки молчали. Маленькие колокольчики, подвязанные к лескам, поблескивали на солнце и чуть покачивались, но не звенели.

Неподалеку у камышей плеснулась крупная рыба, потом еще раз. Витька встал и побежал за отцом сказать про большую рыбу.

Отец сидел на соседнем рыбацком местечке, курил и

смотрел на речку.

– Ты чего, – спросил Витька растерянно, – тебе у нас не нравится?

Отец вздрогнул, нахмурился, но улыбнулся через силу и притянул его к себе.

– Ты чего? – Витька внимательно рассматривал лицо своего отца – глаза улыбались, но грустно-грустно, а в уголках было мокро – он никогда такого не видел. – По маме соскучился?

– Ничего. У нас с тобой отличное место. Я в детстве рыбачил на такой же речке. С братом.

– С дядей Сашей?

– Ну. И с отцом иногда. Но я его плохо помню. Помню, что он строгий был.

– А ты тоже строгий!

– Я?!

– Конечно! – удивился Витька, что отец этого не знает.

Они глядели друг на друга. Нежно и жалеючи. Жалели друг друга. Только разная это была жалость. Витька просто любил, а отец... тоже, конечно, любил. В том-то и дело. И от этого ему было совсем плохо. А Витьке – нет. Витьке не было плохо. Как же ему могло быть плохо, если отец был рядом.

Нежный, но настойчивый звон заставил их очнуться. Они прислушались, удивляясь этому странному металлическому переливу, стелющемуся по реке, но вдруг заторопились разом и наперегонки бросились к донкам. Одна из них уже бы-

ла сорвана, и колокольчик полз к воде.

– Подсекай, – показывал отец, размахивая рукой.

Витька схватил леску, дернул и почувствовал, как его прямо потащило в воду.

– Ух-х! – Он вцепился двумя руками, глаза были полны ужаса и счастья. Был бы он один, по-настоящему испугался бы.

– Большая?!

– Ну!..

– Тащи! Не давай слабину!

Это был огромный язь. Красноперый и черноспинный, желтоватым серебром заходил, завоzilся на мели, у самого берега. На песок уже подтащил его Витька. Отец шагнул в воду, чтобы помочь, хотел было ухватить рыбину руками, но язь отчаянно рванулся и оборвал крючок. И медленно поплыл в глубину. Отец растерянно смотрел ему вслед, а Витька заревел. Он продолжал вытягивать леску, на которой уже ничего не было, и громко ревел. Слезы текли по щекам, он вытирал их и все смотрел в глубину. И столько горя было в его глазах, что отец невольно рассмеялся и прижал его к себе.

– А-а! ы-ы! – не унимался Витька, вздрагивая всем телом.

– Ну-ну! – Отец большой рукой гладил его худенькие лопатки и ежик на затылке. – Бог с ним. Еще поймаем.

– Не пой-май-ем! – тер Витька слезы. – Такого уже н-нет...

– Ну все, все. Вот сейчас увидишь. – Отец достал коробку

и стал привязывать новый крючок.

Витька потихоньку успокаивался. Сидел на бревнышке и иногда судорожно вздыхал, глядя на песчаное дно, уходящее в зеленую глубину. Потом вдруг сказал тихо и решительно:

– Ну и пусть. Там ему лучше!

Отец удивленно и даже тревожно посмотрел на сына.

– Там он плавает. Видел, какой он прекрасный, – у него снова набухли глаза. Он вздохнул тяжело и прерывисто. – Жалко, деду не показали. Дед говорит, что ты подлец. Вот показали бы... узнал бы тогда!

К обеду солнце разошлось. Палило нещадно. Они сидели в тени старой-престарой неохватной ветлы, и все равно было жарко. Витька то и дело купался. Это, конечно, пугало рыбу, но в садке у них уже плавало два хороших подлещика, несколько плотвиц и с десятков окуней. Столько Витька никогда не ловил. Жалко, что Колтуша заболел, а то бы и он посмотрел.

Потом уху варили. Витька бегал за дровами, помогал рыбу чистить, рассказывал отцу, как надо жарить пескарей на прутике.

Потом ели. Никогда Витька такой ухи не ел. Два раза добавки просил и объелся.

Рыба уже давно не клевала. Ни на донки, ни на удочки. И они стали собираться.

Витька шел по лесной дороге, мысленно разговаривая с Колтушей. Рассказывал, как забрасывать донки, как варить

уху. Предлагал всегда брать с собой котелок. Но Колтуша заспорил, кто его будет нести? Витька сначала сказал, что он, но это было несправедливо, и они решили, что по очереди. Он отстал от отца. Шел, размахивая руками.

– Ты с кем там воюешь? – остановился отец.

– Ни с кем... – взял Витька его за руку, – а ты когда уедешь?

Отец должен был ответить «завтра», потому что на послезавтра у него уже были взяты совсем другие билеты. Два. Прижавшись друг к другу они лежали сейчас в кошельке в кармане рубашки. Но он молчал. Глянул лишь мельком в темные Витькины глазки и совсем ушел в свои мысли. Дорога пылила. В рюкзаке за его широкой спиной ложки позвякивали о пустой котелок.

Едучи сюда, к Витьке, он думал, что у него есть выбор. Что просто надо взять себя в руки, все хорошо обдумать и как-то так сделать, чтобы никто не пострадал. Все это время он конструировал внутри себя какую-то особенную конфигурацию... какой-то такой мир, который бы всех устроил.

У него не получалось. Выбора не было. И от понимания этого внутри у него все путалось, горело и рушилось вместе с теми двумя билетами. И только маленькая Витькина ладошка, державшая его палец, имела незыблемый и ясный смысл.

Отец остановился. Прикурил сигарету.

– Я тебе все снасти оставляю. Сам будешь ловить. С... это.

с Колтушей.

– Все?!

– Все, – ответил отец уверенно и даже как будто весело.

– И котелок?

– И котелок!

Витька о чем-то подумал.

– И ножичек перочинный? – спросил осторожно.

Отец остановился, снял рюкзак, достал из карманчика ножик и протянул сыну. Ручка была темно-синяя. Перламутровая.

– Держи!

Витька ничего не понимал. Раньше отец даже трогать его не разрешал.

– А я не обрежусь?

– Не-ет. Ты же уже большой.

Конечно, большой, думал Витька, ощущая в руке приятную гладкую тяжесть. Один на речку хожу. Плаваю. Уху варить умею.

Лес кончился. Показалась Гнилуша. Пацаны разгонялись и с криками прыгали в воду с обрывчика. На всю старицу орали.

– А уедешь когда? Отец помолчал.

– Завтра... наверное.

Витька покрепче взял отца за руку, шагал широко и ничего не говорил. Даже не заплакал, хотя и очень хотелось.

# КАРТИНА

ДЭЗовский слесарь Сергей Назаров нарисовал картину. Случайно вышло. Пришел домой пообедать, а тут внук сидит, мучается с акварельными красками – в школе велели нарисовать осенний пейзаж. Дед задумался, сначала только за спиной стоял, советовал, потом сам за кисточки взялся. Внук уже давно на тренировку убежал, а он все шурился в окно. Срисовывал их старый, заросший и слегка запущенный московский дворик.

И у него получилось. Он сидел на кухне, пил чай и рассматривал рисунок. Все, в общем, так себе вышло, но куст сирени, который он сам лет десять назад посадил у забора, как живой стоял. Осенний, прохладный, с вечерним солнцем на листьях. Назаров мыл кисточки и хитро, с каким-то глупым превосходством его рассматривал. Он понимал, нет, он даже точно знал, в чем дело. Этот куст был самым темным и, чтоб воду в банке лишний раз не менять, он заливал его последним, и руки уже кое-что вспомнили. И руки, и глаза. Он уже не торопился, внимательно его рассмотрел и увидел интересный силуэт. Куст был упрямый, несмотря на позднюю осень весь в зеленых, чуть скукоженных листьях, сквозь которые просматривались тонкие серые побеги. Часть их гордо стремились вверх, другие устало изогнулись к самой земле. «Переломает эти-то... зимой», – жалел Назаров,

намечая карандашом пропорции. Он взял самую мягкую белую кисточку, обработал ее лезвием и ножничками, как когда-то учили, и тщательно все отделал, выписывая листочек за листочком. И у него получилось. Назаров смотрел акварель, рассеянно грыз ногти и тихо улыбался.

Он никак не мог уснуть в тот вечер, казалось, что теперь понял, как надо, что-то большее понял, чем знал когда-то, и очень хотелось нарисовать все хорошо. Весь дворик. Он готов был встать, и прямо сейчас попробовать, но стеснялся. Что свои-то скажут? Ошалел, скажут, на старости лет. Выйдут сонные в кухню, и всё увидят. Неловко.

Он тихо вставал, стараясь не разбудить жену, ходил курить и вспоминал старенького школьного учителя рисования в черных нарукавниках и зеленом берете, который хвалил его и говорил, что ему обязательно надо идти учиться. Но куда бы он тогда пошел? Назаров и теперь этого не знал. А ведь мог бы, наверное. Все время ведь рисовал. В школе... в армии служил художником в политотделе дивизии – плакаты рисовал – там тоже хвалили. Потом, после армии, как обрело. Работал, женился и уже не рисовал. «Странно, – удивлялся он, – ни разу в жизни не сделал ни одного пейзажа, ни одного портрета настоящего. А ведь мог же».

Назарову было пятьдесят четыре. Невысокого роста, худой, светловолосый и светлолицый мужик. Довольно обычный с виду. Только глаза у него были темно-синие. Брови светлые, будто выгоревшие, а глаза такие, что люди иногда

нечаянно, но жадно вглядывались в них так, что он терялся. А бывало, и сам так же, неожиданно долго смотрел в зеркало и вдруг начинал видеть огромную темную синеву вокруг. У него от страха и какого-то необъяснимого чувства перехватывало дыхание, он даже готов был шагнуть в эту синеву, но всякий раз приходил в себя и потом долго думал, что же это было? Море, небо? Но это было ни то и ни другое. Это был темно-синий, хорошо, ровно смешанные кобальт и черный.

Они с женой жили вместе с дочкой и двумя внуками – Антоном и Машенькой – в их старой квартире, бывшей коммуналке, в Арбатских переулках. Назаров, как на фабрике перестали платить, ушел слесарем в свой ДЭЗ. Его здесь все знали, и он всех знал. Он не пил из-за язвы и зарабатывал неплохо.

На следующий день Назаров, сам не понимая, как получилось, пошел в «Лавку художника» и купил краски в тубиках и бумагу. И мольберт. Все это было настоящее, стоило дорого, даже пришлось занять денег. Антону ведь тоже надо – пусть учится. Домой сразу не взял, постеснялся, положил к себе в бендешку. Понес после обеда, когда дома могли быть только внуки.

– Антоха, смотри, чего я тебе принес, – зашумел прямо с порога.

Дома никого не было. Назаров распаковал мольберт, поставил к окну, погладил ладонью гладкую поверхность, постоял, подумал о чем-то и прикрепил кнопками ватманский

лист. Взялся было за краски, но отложил, позвонил в контору и сказал, что заболел. Желудок что-то прихватило. Краски интересно пахли, чем-то нежным, кисленьким. Он выдавливал их прямо на бумагу. По чуть-чуть. Размазывал пальцем, смачивал водой, смешивал. Смотрел за окошко и грыз ногти на левой руке.

Больше месяца он рисовал этот уголок, а все что-то не выходило. Не нравилось. Деревья почти совсем облетели, но он уже наблатыкался вовсю, легко рисовал по памяти. Каждый вечер сидел, телевизор совсем перестал смотреть. Жена сначала не понимала, потом заинтересовалась, обсуждали вместе, но потом перестала понимать, а иногда и злилась: совсем мужик долбанулся – картинки целыми днями рисует. Да ладно бы картинки, а то одну и ту же.

Но он нарисовал. Пейзажик, кажется, получился что надо. Непонятно почему, но вроде получился. Всем понравилось, даже жене. На другой день он сделал его же, тот же дворик, только уже под снегом. Получилось. Сразу хорошо вышло. Денек, правда, был грустный и пасмурный, но какой уж был. Назаров глазам своим не верил, но все было на месте, и он снял акварель с мольберта и сел под лампу. Татьяна подошла, вытирая руки о передник. Долго стояла смотрела из-за спины. Назаров не выдержал и повернулся. И жена смутилась. Во взгляде ее было тихое, испуганное удивление. Растерянным было ее лицо. Будто она Назарова первый раз в жизни видит.

Жизнь, однако, шла как обычно, Назаров ходил на работу, но сам все время думал, что бы еще написать. Дворов-то вокруг было полно, можно было бы, конечно, попробовать. Но как это я усядусь – знакомых полно. Да и что в этом интересного? Двор и двор. Ходил в библиотеку, подолгу смотрел альбомы известных художников – там тоже все было просто. Измучился совсем.

Так он маялся недели три – никак ничего не мог начать. Ездил за город с мольбертом, но декабрь стоял морозный, и краски замерзали. Да и не в них дело было. Чего-то Назаров не понимал, психовал потихоньку да на кухне сидел по ночам. Он не понимал даже того, чего он собственно понять-то хочет?

В конце декабря – субботнее утро было – позвонила начальница и попросила сходить на Гоголевский бульвар, что-то там в подвале потекло. Назаров пошел за инструментом в бендешку, посидел, нервничая, и понял, что все это не просто так. В этом старом доме на Гоголевском жил художник Харламов. У него была большая мастерская на верхнем этаже. Назаров еще помогал ему свет монтировать – сотню лампочек под потолком тогда укрепили на специальной подвеске. Он забежал домой, взял два своих пейзажа. Может, его еще дома не будет?

В подвале часа полтора провозился, что-то все из рук валилось, испачкался, конечно. Подумал пойти переодеться, но плюнул и пошел как был.

Дверь открыл сам художник. В синих рабочих штанах, заляпанных красками, старой футболке и тапочках на босу ногу. Заспанный, явно с похмелья.

– Заходи, – бросил он Назарову, и пошел по темному коридорчику в мастерскую. – Что стряслось?

– Да, так, ничего, я вот зашел. Здравствуйте. – Назаров шел за ним, волновался ужасно и не знал, с чего начать. А главное, забыл со страху, как его зовут.

Харламова звали Владимир Васильевич. Это был невысокий, нестарый еще, крепкий мужик. Глаза мутноватые и невыспавшиеся, но все равно такие мягкие и умные, что Назарову было неудобно смотреть.

– Погоди-ка. – художник вышел, хлопнул где-то дверцей холодильника и вернулся с тремя бутылками пива.

– Не-не, спасибо – очнулся Назаров, – я... не пью. Язва. Я вот тут, – отнимающимися руками вынул акварельки из пакета, – хотел это.

Назарову совсем худо стало, когда его листочки выползли на свет божий – вокруг было полно картин. Больших, маленьких и очень больших.

Харламов выпил стакан, наморщил лоб, прислушиваясь к себе, тяжело опустился на стул и взял в руки рисунки.

– Садись. Нет, дай-ка вон очки.

Он долго рассматривал. Сначала смотрел «Осень», потом «Зиму», потом снова взял «Осень». Назаров не знал, куда себя деть. Волнение под самое сердце подкатило. Не мог ждать.

То ему казалось, что Харламов просто еще бухой и ничего не соображает, то вдруг становилось стыдно, что вообще приперся с этим.

Владимир Васильевич снял очки и внимательно посмотрел на Назарова.

– Это ты сделал?

– Ну.

– Так ты, вроде, в ЖЭКе работал?

– Ну да.

Харламов помолчал, глядя куда-то сквозь рисунки. Потом снова нахмурил лоб, налил пива, медленно выпил и закурил. Взял рисунки со стола, подошел к окну.

– Ну что, так-то чисто сделано. Ты учился?

– Да, нет, случайно, в общем, вышло... ну, раньше там. –

У Назарова маленько отлегло.

– Гм. Случайно. У меня студенты. Н-да, – он снова внимательно посмотрел на Сергея. – Так я не понял, ты давно этим грешишь?

– Да нет. Сам не пойму, как вышло. Сначала-то не получалось. А тут смотрю, вроде ничего. Но самое смешное – поделать с собой ничего не могу. Как больной, ей-богу, хожу, только об этом думаю. Странно как-то. Вроде – кисточки, да краски, а вот раз – и небо. Вы понимаете? И вроде точно небо. – Назаров доверчиво улыбнулся. – А как так получается – не понимаю. Я ведь ничего такого не делаю. Нет, не то что не понимаю. Черт. Ну вот раньше, в молодости, такого

не было – рисовал и рисовал. А мог и не рисовать.

Назарову казалось, что он несет не пойми чего. Он злился на себя, что ничего не может объяснить, даже то, что хорошо понял – не может, а уж что-то еще... да и вообще говорит не о том. Но Харламов, кажется, хорошо понимал.

– Да-а, – Владимир Васильевич вернулся к столу, – небеса у тебя. – он уважительно качнул головой и вдруг хитро и весело глянул на Назарова. – А тут-то вот... неба-то, ведь нет столько, – ткнул пальцем в акварель, – сам ведь добавил, из окна же рисовал.

Назаров задумался. Точно, из окна этот кусок неба не видно было, и он даже выходил на улицу смотреть. Он растерялся. Владимир Васильевич увидел это и рассмеялся.

– Да ты что! Все правильно! Правильно все сделал, и не думай. Это уж, видно, рука. А башка, она может и не понимать. Умные художники бывают, конечно, но они пишут херово. Ну, ладно. Не мое, может, дело, но раз уж ты пришел... – он прислонил «Осень» к бутылке, прищурился. Не глядя достал чистый шпатель из банки. Потянулся к рисунку и опять замер, что-то рассчитывая. – Вот так, наверное. – он повернулся к Назарову: – добавь сюда бабульку на лавочке. В чем-нибудь темном, понимаешь? Композицию подтянешь. А эту тень послабее сделай... зажелти что ли? Да и убавь, наверное. – Он опять о чем-то задумался. – А так все хорошо... все у тебя здесь есть. Настроение шикарное. Старый двор. Осень. Тепло. Пусть бабуль-ка посидит, на солнышке

погреемся.

Назаров растерянно молчал. Первый страх у него прошел и теперь он пытался что-то понять из того, что говорил Харламов.

– Чего ты?

– Да там... нет лавочки. – брякнул первое, что пришло в голову. В душе же был счастлив, и ему хотелось попробовать со старухой.

– Ну и что теперь? Неба-то добавил. И ничего не бойся – у тебя получится. А не хочешь, не добавляй. Да пиши побольше – сам многое поймешь.

Харламов разговаривал с Назаровым как с равным. Или почти как с равным. Назаров это хорошо понял. Шел домой сосредоточенный, ничего вокруг не видел.

...Не вышло у него ничего... с «бабкой»-то... Все ногти съел. Недели две мучился. Штук двадцать их сделал. На разных лавочках, с книжками, с внучатами, даже настоящих местных старух пытался «усадить». Не выходило. Некоторые старухи на отдельном листке, ну прямо как живые, даже сам удивлялся, а в пейзаж не идут. Назаров не понимал в чем дело. Казалось, бери да делай. Но... пейзаж оставался сам по себе, а бабка в нем как какая-то случайность, да еще сидит, задумавшись, дура такая. Можно было к художнику сходить, но неудобно было часто таскаться, и Назаров пошел в Третьяковку – Харламов велел ходить.

Часа полтора он выдержал в галерее. Летел домой как

ошпаренный. «Поперся, старый осел. – шипел яростно. – Пятюк картинок намазал и в Третьяковку. Место себе присматривать? Ой-ей-ей! Ой-ей! Сказано было – пиши. Значит – пиши! – Рубанул он рукой воздух. Какая-то тетка с сумками испуганно шарахнулась в сторону. – А то, вишь ли, Суриков ему не понравился. Небрежно больно...»

С Суриковым, действительно, вышло неловко. В Третьяковке как раз была выставка его акварелей. Назаров сразу туда и пошел. И первое, что он внимательно рассмотрел, были несколько заграничных набросков. «Испанские дворики», «Неаполь», «Берлин». Быстрые рисунки, даже небрежные. Может быть, для памяти Суриков их делал. Назаров, видел, что его «дворик» совсем не хуже. Он подходил совсем близко и, сосредоточенно грызя ногти, «правил цвет», а от некоторых небрежностей, которые уже нельзя было поправить, болезненно морщился. Как будто выговаривал Сурикову.

Но дальше шли портреты. И Назаров занервничал. От них невозможно было оторваться. Казалось бы – женское лицо. Всего-то и взглянула на тебя. А во взгляде этом – всё. Всю ее видно и понятно. Растерянная она от чего-то и стесняется – вот-вот краской пойдет, и тут же вроде как жалеет тебя, хоть жену бросай! И видно же – конкретная простая баба. Почти небрежно, мазками, с натуры набросана, а ощущение, что сразу все русские бабы на тебя смотрят!

Господи, да неужели ж так можно! – сами собой шептали

назаровские губы. Ведь это всего-навсего краски так лежат! Он почувствовал какое-то радостное облегчение – вот ведь смог человек. Даже так смог! Неужели и я смогу.

Но эта радость судорожно мешалась с паническим страхом, почти ужасом. Господи, я ведь уже старь, я же самого простого еще не попробовал, мне же. Он испугался. Глупо, но страшно, по-настоящему испугался, что ничего не успеет. И с трясущимися руками и душой припустился домой. Уже по дороге решил, что надо делать.

Дома он стал писать портрет Машеньки. Думал, что это именно то, что у него получится. Не могло не получиться. Машку он больше всего на свете любил. Назаров торопился. Почему-то боялся, что кто-нибудь помешает. Сначала сделал быстрый набросок в карандаше – только голову. Ему не очень понравилось. Было очень похоже, но слишком красиво... или слишком взросло, что ли? Он морщился, открывал тюбики и надеялся выправить дело красками. Начал заливать. Появилась нежность. Назарова охватило сладкое нервное волнение. Он был почти уверен, что все получится.

Дверь глухо брякнула в коридоре. Он вздрогнул, прислушался, но так и не поняв, кто пришел, снял мокрый рисунок с мольберта и осторожно спрятал в стол.

В комнату вошла Татьяна, расстегивая пальто.

– Ты чего не на работе? – начала было, но, увидев безумный, растерянный взгляд мужа и разложенные тюбики, вспыхнула одними глазами и молча вышла на кухню.

Назаров не знал, что делать. Чувствовал, что жена права, но была уже в этой комнате и какая-то его правда. Непонятная совсем, может и преступная... она тихо стояла рядом с ним. И не уходила.

Назаров стал складывать краски и услышал всхлипы жены. Баба она была незлая и плакала всегда тихо, как будто для себя. Но иногда – совсем редко – плакала тихо и зло. Назаров побаивался таких слез. Он пошел на кухню.

Татьяна сидела за столом и глядела в темное окно. Назаров прислонился к стенке, тяжело и виновато, как бы извиняясь, вздохнул, но какой-то тихий бес толкал изнутри. «Эх, елки-палки, успел бы хоть пол-лица сделать...»

– Я все это выброшу! – Татьяна повернулась. В мокрых глазах твердость и злость. – Выброшу! Ты уже и днем сидишь! Нас как будто и нет совсем! У тебя чего с башкой-то? Ты в прошлом месяце сколько принес? А? Что мне, еще один подъезд взять?!

Все это было правдой. Татьяна после работы ходила мыть подъезд в девятиэтажке. Назарова это почему-то унижало. Он предлагал ей бросить, но денег не хватало. Дочка была в разводе.

Назаров стиснул зубы и ушел в комнату. Постоял там, потом достал из шкафа «Осень», «Зиму», подумал и взял еще пару эскизов «старух», которые получше. Он двигался так, будто не сам это делал, как будто это у него давно решено. Сложил все в пакет, оделся и вышел на улицу. Арбат был

совсем рядом.

Он прошел весь ряд торговцев картинами. Потом вернулся к одному толстому молодому парню, у которого было несколько неплохих пейзажей.

– Ты что, мужик, купить чего хочешь? – весело спросил толстяк, отрываясь от разговора с таким же продавцом. Он бесцеремонно и снисходительно оценивал Назарова.

– Да нет, я вот... принес тут.

– Прине-е-ес, – парень потер замерзшие руки, – ну показывай.

Назаров достал рисунки. Парень быстро, но внимательно проглядел.

– Если все, то по пятьсот рублей возьму. Назаров растерянно молчал. Не потому, что очень мало предложили, но ему почему-то ужасно жалко их стало. Он испугался, что вот сейчас отдаст, – и все, и больше не будет этих рисунков. Стоял и тупо смотрел куда-то мимо парня.

– Ну ладно, давай все за три тысячи. Хорошая цена. А то сам стой – менты за так заберут. Ты где их, кстати, взял-то?

Назаров забрал деньги, сунул пустой пакет в карман куртки и пошел в переулок. Темнело. Зажглись фонари. Он медленно шел по недавно выпавшему, но уже грязному истоптанному снегу. Обходил машины, стоящие на тротуаре, пропускал спешащих людей. Ему не хотелось домой. Чувствовал себя так, будто у него только что грубо отняли что-то. Да я этих «старух» по пять штук в день могу делать – пытался

успокаивать себя. Не выходило. Ему не хотелось писать «старух», ему хотелось закончить Машку, но он знал, что на это может уйти много времени. Может быть, месяц или больше. Да и получится ли?

Проходя мимо своей бендешки, увидел, что из маленького полуподвального окошка, заколоченного фанерой, пробивается свет. Назаров свернул в подвал.

Его напарник, вечно безденежный, но всегда поддатый, веселый и громкий Гришка, по кличке Гуляй, сидел за маленьким столиком с дворником-студентом Юркой Киселевым. Дым коромыслом. На столе полбутылки водки и открытая банка «Кильки в томатном соусе». В карты играют. На голове у Киселя – высокий новогодний колпак с золотыми звездами, золотым хвостом на самом верху и резинкой под подбородок. Когда Назаров вошел, Юрка начал было снимать.

– Куда?! – заорал на него Гришка и упал от хохота головой на стол.

Кисель снова надел колпак и снисходительно улыбнулся, качнув золотым хвостом.

– Заходи, заходи, Назарыч! Плеснешь в душу? – Гришка налил в свой стакан.

– Давай, – Назаров взял водку, и увидел, что у него дрожат руки.

– Мы тут с Киселиком, – Гришка с оттяжкой врезал картой об стол, – в дурачка играем. Проиграл – будьте любезны

колпачок примерить. Так он у меня все время в нем сидит. – Гришка весело и громко захохотал и выложил на стол три последние карты – А, Кисель? Колпаком крой! Ты чего ее греешь-то, Серега?! – Обернулся он на Назарова.

– Не буду я, – Назаров поставил стакан на стол. Под банку килек был подложен один из его осенних пейзажей. Не самый плохой. По краскам расплывался оранжевый томатный кружок. – Пойду.

Он шел домой и думал, что никому, конечно, эти его судороги не нужны. Не понимают они. Да и как понять-то? Живешь, мечешься, ни хрена и не понимаешь. Некогда все. Всю жизнь в делах, а что сделал-то. Назаров тяжело вздохнул. Он и сам не мог понять, что с ним происходит. Не понимал, например, зачем ему надо писать Машку. Знал, что надо, но почему? Что потом-то? Ну, предположим, получится. Хорошо получится, как у Сурикова. И что? Ну скажут, все скажут: хорошо! Молодец! И что?! Он вдруг представил, что сделал свою «Машеньку», «как у Сурикова». На самом деле представил. Остановился даже. В висках застучало. Страх нахлынул, а вместе с ним еще и сила какая-то большая, поднимающая, от которой мурашки пошли по всему телу. Господи, да неужели же смогу?

Он стоял в темной неуклюжей арбатской подворотне в двух шагах от своего подъезда. Слезы душили. Машку почему-то было жалко. Не портрет, а настоящую, живую Машку.

Спал он плохо. Несколько раз за ночь вставал, курил, чай

пил. Вроде ни о чем особенно и не думал, а уснуть не мог. Утром дождался пока жена уйдет на работу, встал, неторопливо почистил зубы, умылся, выпил чаю и пошел в комнату. Что-то там повозился, потом вернулся на кухню, постоял, погрыз ногти, глядя в окно, и позвонил начальнице. Сказал, упрямо нахмурившись, но спокойно, что больше на работу не придет. И положил трубку.

В комнате на мольберте его ждала «Машка». В карандаше пока. Одна щека только залита. Нежная детская щечка.

# НОСКИ БЕЗ РЕЗИНОК

Дед в письме опять носки просил: «...как у Шурки-то, помнишь, без резинок, а то ноги затекают». Студент Московского университета Александр Парамонов еще раз перечитал как всегда длинное дедово письмо. Ничего больше в нем не было, обычный перечень стариковской жизни. «Не лень и писать все подряд», – подумал, но за носки неудобно стало.

На следующий день Парамонов ушел после второй лекции и купил – именно такие, какие дед просил. Карамелек еще два килограмма добавил и, не поленился, доехал до Главпочтамта, чтобы побыстрее дошло.

Бандероли принимали только до килограмма, а посылочный ящичек полупустой получался, и он, не сумев придумать, что еще положить, добил посылку толстой оберточной бумагой.

И вот теперь довольный, хотя слегка все же виноватый, – три месяца до этих носков руки не доходили, – ехал в метро и вспоминал, как последний раз был у деда. На ноябрьских праздниках.

Мела пурга. Противная, осенняя. Снега на земле почти не было и белая крошка струилась по замерзшей грязи. Парамонов шел с железнодорожной станции, подняв воротник легонькой пижонской куртки и отворачиваясь от колючего

ветра, и радостно представлял, как заскрипит сейчас тяжелая, обитая войлоком дверь и он войдет. И как дед сначала глянет непонимающе и глупо, а потом заматерится недовольно, что не предупредил. И они обнимутся.

Свернул на Трудовую. Четвертый дом по правой стороне был их. Дядь Шура Полозков, сосед и дедов кореш, стоял, оперевшись на свою калитку, глядел на улицу.

– Здорово, дядь Шур! – Парамонов кивнул, слегка при-  
тормаживая.

– Здорово, – ответил дядь Шура тем же безразличным голосом, что и всякому проходящему мимо.

«Не узнал, – понял Парамонов и, брякнув щеколдой, вошел в свой двор, глаза скосил на дядь Шуру, – сейчас-то узнает?» Тот развернулся к нему, внимательно смотрел через невысокий, покосившийся штакетник, кто это там к соседу пошел, но так, кажется, и не узнал. Узнал бы, так обязательно чего-нибудь закричал. Они с ним друзья были. За грибами ходили. Дед не любил собирать, а дядь Шура всегда брал маленького Сашку за компанию. Сашка тогда ужасно гордился этим делом.

Дома никого не было. Сашка нащупал ключ на обычном месте, зашел. У деда, как всегда, было чисто, печь недавно протоплена. Сашка сбросил сумку, снял куртку и осторожно прислонился спиной и ладонями к горячему беленому боку. Улыбался, тянул замерзшим носом воздух. Нигде не было такого запаха. Дымом от печки пахло, овчиной от дедо-

ва тулупа, а когда бабка была жива, стряпней, кислым молоком или квасом и свежим хлебом. Стариками пахло. Старой жизнью.

«В магазин, наверное, пошел», – подумал Сашка. Улыбаясь неволью, представлял, как дед идет из магазина. Открывает калитку, ставит бидончик с молоком на лавочку, закрывает калитку, хотя она и так бы закрылась, на пружине, но дед обязательно закроет сам, а потом на щеколду. Посмотрит рассеянно в оба конца улицы и только потом пойдет в дом. Мимо окон. Сашка улыбался все шире. Придумал сначала спрятаться за дверью, как он всегда и делал, и схватить деда сзади, но потом передумал. Испугается. Это маленькому можно было. Теперь-то, наверное. Почти два года не был – какой он стал? Постарел, конечно.

Калитка брякнула. Сашка очнулся, заторопился, не зная, что придумать, кинулся к окошку. Дядь Шура Полозков неторопливо шел по двору, опираясь на палку, и заглядывал в окна. Постарел, он и раньше был небольшой, но жилистый, чернявый и веселый, а теперь совсем сгорбился и побелел, фуфайка будто с чужого плеча, болтается, и нос и скулы обострились.

Сашка вышел на крыльцо.

– Здорово, дядь Шур! – поздоровался еще раз. Ему хотелось сказать попроще, по-деревенски, как старому знакомому, а получилось неестественно. И руки хотелось развести навстречу старику, но он окончательно застеснялся и только

улыбнулся неловко, как будто в чем виноват был.

Дядь Шура, заросший пестрой двухнедельной щетиной, смотрел недовольно, собираясь что-то сказать или спросить сердито, но вдруг узнал, вскинул недоуменно лохматые брови.

– Ты что ль, Сашка, твою мать! – махнул было рукой, но сморщившись от боли в спине, схватился за палку. – А я думаю, кто пришел-то? И в дом, смотрю, зашел, а не выходит! Пашка-то в бане... меня звал, да что-то спина.

Дядь Шура с Сашкой когда-то дружили, дед даже ревновал маленько внука, а теперь и за руки не поздоровались. Стеснялись. Дядь Шура и улыбался как-то осторожно... как будто не знал, как с Сашкой разговаривать.

– Заходи, что ли, дядь Шур.

– Да что я... пойду. Потом уж, Пашка вернется. На Первомайской седня женский день, так он в Красные поволокся, – дед внимательно посмотрел на Сашку, соображая, знает Сашка Красные бани или нет, – мы с ним по средам ходим. В среду-то никого нет, а тут... бабке твоей седня память. Пойду, говорит, помоюсь. – Он оперся удобнее на палку, матюгнулся, поморщившись на спину. – Бабка ему с того света про церковь, видно, талдычит, так он в баню пошел.

Хмыкнул неопределенно, непонятно было, кого он поддерживает – бабку или деда, и стал аккуратно разворачиваться к калитке.

– Пойду, мать ее ети, эту спину, чего вот вдруг? – и уже по-

что повернувшись, спросил: – Ты надолго что ль, погостить?

– На выходные.

– А-а. Ты жди его, он уж скоро.

Не стал Сашка ждать. Надел дедову телогрейку, дед на базар и в баню всегда в полупальто ходил, ушанку и вышел на улицу. Метель не унималась, но Сашке уже было тепло – телогрейка, не куртешка глупая, – шел быстрым шагом, иногда и припускал мелкой рысью и опять радостно улыбался. Хотелось обнять деда и прижаться, как когда-то. Бабушка вспоминалась, умершая шесть лет назад. Сашка совсем забыл про сегодняшний день, а дед с его склерозом помнит про нее. «Хорошо, что сегодня приехал», – подумал Сашка.

Они никак не могли разминуться и Парамонов ждал, что, свернув на Первомайскую, увидит большую знакомую фигуру, и прибавлял шаг. Ни на Первомайской, ни потом, на Центральной, деда не было.

Баня была добротная, двухэтажная, из красного кирпича и с башенками. «1889» – было выложено над входом. Две толстые распаренные тетki, по самые брови увязанные серыми пуховыми платками, стояли и громко что-то обсуждали на крыльце. Мокрые полотенца и веники торчали из сумок. Не пройти было. Сашка хотел попросить дороги, но остановился, ожидая, пока договорят. Наконец они закончили, и та, что стояла ближе к Сашке, махнула тяжелой сумкой так, что чуть не зацепила его, руганулась крепко, но беззлобно на какого-то там, кого они обсуждали, и стала спускаться со

ступенек. Сашка сделал вид, что все нормально, и то, что ждал их, и то, что она сма-терилась, улыбнулся понимающе. Но тетка посмотрела на него как на пустое место.

Раздевалка была плотно заставлена шкафчиками. Мужики кто одевался, кто раздевался. Разговаривали негромко и гулко под высокими потолками. Дед сидел на лавке, недалеко от входа. Кальсоны уже надел, чего-то копался в сумке. Сашка снял шапку и встал в некоторой растерянности в двух шагах от деда. Дальше надо было протиснуться между двумя голыми мужиками. Щеки покраснели, ему неудобно было обниматься с дедом в бане, при всех, а сердце жалостно колотилось, щенячье поскуливало и, не видя и не слыша никого, просилось к деду.

– Не-е, Пал Семеныч, все ж ты брешешь малость, – худощавый, напаренный краснорожий мужик лет сорока, одетый уже, сидел рядом с дедом, курил и вытирал мокрым полотенцем пот со лба, – как же так-то? Они всё же – немцы...

Дед поднял голову, посмотрел на него, прикидывая, стоит ли такому отвечать:

– А ты, Васька, как раз стоя срался, когда это дело было. – и снова полез в сумку.

Дед был известный грубиян. Как хочешь и что хочешь мог сказать. И где угодно. Ни на начальство, а уж тем более на баб не обращал внимания. И на него не обижались, злобы в этой грубости никакой не было. В нем вообще не было злобы, но за справедливость дед был крут. Однажды отобрали

у Сашки велосипед, известная была семейка в их городке: отец и два сына-уголовника, никто бы к ним и не сунулся. Дед выслушал рыдающего внука, выпил полстакана самогона и пошел. Вернулся в рваной рубаше, с ссадинами на руках и лице и с велосипедом. К велику были уже чужие удочки привязаны, но дед называл их трофейными и отдавать не велел. Были и другие случаи.

Сашка подошел и сел напротив. Лицо в лицо. Прищурился, волнуясь и едва сдерживая улыбку. Дед достал носки и сердито посмотрел на Сашку, он как раз на это место собирался ногу поставить.

– Ты что, блядь, сел-то? – сказал недовольно, – места, что ли, мало?! Ну-ка, дай! – Он набирал в руках носок и задира л ногу на Сашкино место. Он не узнавал его!

– Дед, ты что! – жалость поднялась к самым глазам. Сашка уже не видел никого. – Дед! – сказал он осторожно, взял деда за плечи и заглянул ему в глаза: – Это я!

– Ой-й! Сашка! – Дед в грязь, под ноги, уронил носок, схватил неловко внукову голову и притянул к себе.

Он всегда целовался в губы, Сашка терпеть этого не мог, но сейчас терпел, и не терпел даже, потому что дед не целовался, а судорожно сопел и причитал Сашке в подбородок:

– Не узнал... не узнал я тебя, внука! Приехал ты!..

Всю обратную дорогу дед только об этом и говорил. Успокоился, принял свой обычный, «председательский», как говорила баба, вид, а на самом деле совсем уже и не председа-

тельский, а худой и сутулый, и рассказывал Сашке, как он его не узнал. Сашка, поглядывая по сторонам и слегка чего-то стесняясь, нес дедову «балетку» – аккуратный, крохотный дерматиновый чемоданчик, с какими раньше, когда Сашка был маленький, многие ходили в баню. Тогда он с гордостью ее носил.

За хлебом в магазин зашли. Пока добрались, за вечерело. Дед включил свет, за окнами стало сине, сел устало на стул, задумался о чем-то, потом пристально посмотрел на внука. Вроде и спокойное было лицо, а слеза ползла, застревая в морщинах. Может, правда, и от холода.

– Ты что? – спросил Сашка, выкладывая на стол московские гостинцы – сыр, вареную колбасу, бутылку водки поставил. И кулек карамелек, которые дед всегда просил, но никогда не ел.

Дед помолчал, глядя в пол.

– Нету нашей бабки, Сашка. Раньше мы с ней валенки снимали. Она ухватом зажмет, а я тяну, – он улыбнулся сердито, как будто перед ним сейчас была бабушка. – Нету! Ты что ль давай!

– Может, сходить за дядь Шурой? – спросил Сашка, ставя валенки к порогу.

– Придет. Свет увидит. – дед развешивал выстиранные в бане трусы, носки и рубашку.

Сашка спустился в погреб за капустой и огурцами, а дед стал накрывать на стол. У него было наготовлено. Блинов с

утра напек.

Пришел дядь Шура. Выбритый, с сильным запахом дешевого одеколона. Миску моченых яблок принес и бидончик молока. Улыбнулся хорошо, как когда-то, и протянул Сашке.

– На-ка вот, попей. Утрешнее, ты парного-то не любил, я помню, – он медленно, с кряхтеньем стал снимать фуфайку. – К Яхонтовым ходил, у них корова хорошая.

Выпили за упокой души бабушкиной. Старики безо всякого сожаления вспомнили, перечислили, кто еще недавно помер. Помолчали, попыхивая сигаретками. Сашка захмелел, захотелось рассказать что-нибудь интересное и веселое дедам, он перебрал мысленно свою московскую жизнь: с известным артистом недавно выпивал в одной компании, в Питер ездили с ребятами – ничего подходящего не приходило в голову. Хотел похвастаться, что собирается летом на языковую практику в Германию, но не стал. Молчал, поглядывая на стариков.

И они о чем-то своем молчали. Глядели оба в темное слезящееся окошко, а на самом деле куда-то далеко. Сашка пытался представить, о чем они думали, но ничего не выходило. Вялая, зимняя муха, упав на спину, не могла перевернуться и безвольно перебирала лапками. Он вспомнил Москву, друзей, подумал, что как-нибудь перекантуется пару дней, выспится завтра на дедовых перинах. Всегда так бывало. Рвался мыслями, душил деда в объятьях, а приезжал, и становилось скучно, и он ничего не мог с этим поделать. Он отки-

нулся на спинку стула и от нечего делать барабанил пальцами по столу.

– Не стучи, денег не будет, – дед взял бутылку и стал разливать. – Давай, Шурка, за мужиков, которых на войне убивало.

– Давай, – кивнул дядь Шура. И, подумав, добавил: – У меня и Тоську.

– Ну. – подтвердил дед, выпил и потянулся за капустой.

Старики оба были бобылями. У дядь Шуры жена здесь у станции погибла с двумя младшими ребятами. Прямо в их домишко бомба попала. Только старшая дочь, ходившая в тот день в деревню за картошкой, осталась. В городе теперь жила.

– А то Васька Мигунов сегодня расхотелся, – вспомнил дед разговор в бане, – не может, говорит такого быть, чтоб с немцем курил! Мне чего ему врать-то, дураку! Сам я и курил!

На Волховском в окружении сидели, ни жратвы, ничего. И немцам так же, им тоже с самолетов сбрасывали. Ходить в полный рост-то не ходили, а ползать ползали. Я раз, темнело уже, пополз, конь между нами лежал убитый, так, к немцам малость поближе... я между кустиками, между кустиками, там болотце такое замерзшее... приполз, смотрю – а у этого коня уже немчура такой вот, вроде тебя, – кивнул дед на Сашку, – некрупный, копошится. Конь замерз, как камень, а он его штыком пилит... Что ты делать станешь? Лежу, думаю

– конь-то, вроде как их, к ним же ближе. Я винтовочку приготовил на всякий случай да покашлял. Он – зырк на меня. В очках, помню, сопляк совсем, лицо худое-худое и вроде к автомату. Ну я ему стволом так поводил – не замай, мол, и... топор из-за пояса вытаскиваю, отрубить-то, мол, легче! А он руки кверху тянет и глаза – во! – дед выставил два кулака. – Как у рака!.. Я подполз, руки, говорю опусти, коня, показываю, рубить давай. А он не поймет. Я тогда винтовку аккуратно к его шмайссеру ставлю, толкаю его, давай, не бойся.

– Как же. – Сашка смотрел недоверчиво.

– Чего как же?

– Немец же! Мог бы и... в плен взять! Дед хмуро посмотрел на внука.

– Вот и Васька то же самое. Мне за него даже спасибо не сказали бы. Послали за мясом, а пришел с немцем. Кому он нужен-то, стрельнули бы, да и все. Не голодали вы сопляки, не знаете. Дед замолчал и прищурившись посмотрел на Сашку. Вот ты знаешь, что такое голод? Так, чтоб один сухарь два дня сосать да всякие почечки да веточки в рот тянуть... Во-о-от!! И никто сейчас не знает! А тогда все знали, и у того фрица глаза тоже голодные были.

Стали мы этого коня потихоньку рубить, а он прямо мерзлые куски подбирает и жрет вместе со шкурой. Вот тебе и немец. Пока отрубили, стемнело. Надо бы и разбежаться. Не стрельнул бы, думаю, а он в карман полез, достает сигареты и мне сует. Не-ет – показываю, за эти сигареты, мне, брат,

такой хенде хох сделают, давай, говорю, тут покурим. Закурили. Смотрим друг на друга и вроде улыбаемся. Я его так толкнул, – дед легонько толкнул Сашку в плечо, – что же ты, говорю, без топора-то пополз? А он тоже – достает из кармана портмоне, показывает фотографию – мутер, мол, футер... а уже не видно ни хрена, – дед засмеялся, молодо, гордо зыркнул на соседа. – Чего пригорюнился, морячок?! На флоте-то кониной не кормили?!

Поезд выскочил на метромост, и Сашка очнулся. Следующая была «Университет». Прямо перед ним, с трудом доставая до поручней, стояла старуха с тяжелой сумкой в руках. Сашка поднялся и стал продвигаться к выходу. Сквозь грязные стекла станции видно было, что Москва-река еще прочно замерзшая. Был уже конец февраля, но холода стояли лютые. Сашка подумал про стариков – как они там? Живут потихоньку, вояки.

Телеграмма пришла третьего марта. Недели через две, как он отправил посылку.

**«ВЫЕЗЖАЙ СРОЧНО ДЕДУШКА УМЕР МАМА»**

Сашка сидел в своей комнате, в общежитии, на койке и тупо глядел в бумажку. Дел было полно. Он почему-то даже разозлился на мать с этой ее телеграммой. Да-да. Полно было всяких дел. Он еще и еще раз автоматически прочитывал косо наклеенные ленточки строк. Подумал про посылку – успел ее дед получить, нет ли? Как-то странно в такой-то ситуации, но как будто и обрадовался, что купил толь-

ко шесть пар носков, а сначала хотел десять. Все пытался представить себе деда, и дед все время выходил веселый, весело что-то говорил Сашке, а надо было другого какого-то представлять. Какого? Мертвого? Этого Сашка не мог. Он никогда не видел деда мертвым. Сашка скрипнул кроватью, подошел к окну. Солнце начало опускаться, и высотные здания тянули длинные холодные тени. Маленькие люди внизу спешили в тепло. Ни жалости, ни слез, ничего не было. Дед был живой. Такой же живой и далекий в своей заметенной снегами Алексеев-ке, точно-точно такой же, как и день или два назад, когда Сашка еще не знал ничего, или, может, дед на самом деле еще был жив.

Сосед вернулся из университета, спросил удивленно, что же, мол, не поедешь, и только тут, по лицу соседа, Сашка понял, что у него умер дед. И заторопился.

В Алексеевку приехал во втором часу ночи. В доме никого не было, мать увели к родне, только какой-то мужик храпел в кухне за печкой. Поднялся, когда Сашка включил свет.

– Колька, – протянул он тяжелую руку, щурясь на лампочку, – племянник его, а ты внук что ль?

Сашка кивнул, устало сел на табуретку. Створки дверей в горницу были непривычно закрыты.

– А я только уснул, – широко зевая, сказал Колька. – Иди, посмотри, что ли, да давай выпьем. Или, хочешь, сейчас выпей, потом посмотришь.

Деда не было. Он не вышел его встречать. Ниоткуда, ни из мастерской, ни из курятника не зашумел, сейчас, мол. Лучше бы этого Кольки здесь не было. Тогда бы он не пошел в горницу. Или пошел, но потом. В горнице было подтверждение той телеграммы, и он не хотел туда. Но Колька стоял и смотрел на него, и надо было идти. И Сашка нахмурился растерянно и пошел, досадуя на себя, на Кольку, на выключатель в горнице, который вечно заедал.

Дед лежал на столе. К нему ногами. Под черным абажуром. Сашка ждал, что дед будет в гробу, и боялся именно этого, но гроба почему-то не было, дед лежал просто так, в ботинках. Как будто напился и решил пошутить, улегся. И Сашка, совсем уже ничего не понимая, шагнул к деду, желая прекратить эту шутку. Может быть, он на секунду сошел с ума.

– Дед, – прошептал, чтобы только дед услышал, а не Колька, и вообще больше никто, и совсем по-детски, как он всегда его будил, добавил сердитым быстрым шепотом: – деда!

Дед лежал молча. Сашка смотрел на чье-то чужое желтое лицо с белой лентой на лбу. Это был не дед. Сашкиного деда, Павла Семеновича Громова, здесь не было. Душа Сашкина пометалась еще в растерянности и вдруг успокоилась. Дед был где-то рядом. Такой же живой, как всегда, каким всегда и представлял его Сашка. Он тупо, не понимая ничего, смотрел на покойника или даже мимо него, потому что в эту самую секунду его дед за этим самым столом рассказы-

вал что-то веселое, и хохотал, и хватал бабушку за коленку под скатертью. Сашка повернулся и вышел из горницы.

Пить не стал, пошел к дядь Шуре. Старик не спал, курил впотьмах у открытой печки. Обрадовался Сашке. Руками замахал, тихо, мол, люди спят в комнате.

– Здорово, здорово, внучек, со мной ляжешь, на полу вон постелил. Был у деда-то?

– Был...

В голове все путалось. Сашке хотелось узнать у дядь Шуры, где дед. Казалось, что дядь Шура засмеется, как он всегда посмеивался над своим коре-фаном и скажет, где он и когда вернется. И дед вышел бы с задов, из маленькой калиточки в углу сада, по дороге привычно отпихнул ласкающегося Байкала и притворно хмуро улыбнулся бы навстречу внуку. От таких картин у Сашки слезы наворачивались, и он начинал понимать, что ничего этого уже не будет. И их Байкала давным-давно уже нет.

Дядь Шура прервал молчание.

– Дочка, Верка, в Воркуту завербовалась. Далекое ведь это?

Сашка посмотрел на него, будто вспоминая, что же это – Воркута.

– Далекое.

– Ну сколько, если на поезде?

– Суток двое. А ты, что, к ней собрался?

– Да куда мне, к Пашке вон, видно, скоро, – старик задумался, стряхнул пепел в печку. – Один я, получается, оста-

юсь. Так вот прихватит, и буду тут лежать. – ткнул рукой в пол.

Он сморщился в огонь, обдумывая, как бы ему все устроить, он уже два дня об этом думал, повернулся к Сашке.

– Ты в церкви-то... не знаешь... может, сходить? Может, там есть кто... к старикам кто заходит, проводывает.

Сашка не знал.

– Нельзя мне, наверное, в церковь-то. – дядь Шура помолчал, глядя в огонь, – не ходил же... а иной раз задумаюсь, и так перекреститься охота... да не умею. Ничего не помню. Когда-то бабка учила, ведь – Отче наш, иже еси на не-беси. А что Отче? – Он замолчал с недовольным лицом. – Вон к Пашке попа позвали – еле в двери прошел – смотрю я на него и вижу, что на Пашке-то грехов считай, совсем нет, как на этом попу. Такая ряха неприятная, ужас! А он ему грехи отпускает! Как так?! Бабы говорят, что он коммунист. Такое может, что ли, быть?

– Кто? – Сашка думал о своем и слушал вполуха.

– Что кто?

– Кто коммунист?

– Да поп-то?

– Не может, наверное.

– Ну, и я говорю, а они говорят, что старый батюшка хороший, а этот, мол, коммунист. Пашка тоже коммунистом был.

– Да хрен с ним, дядь Шур, – Сашка посмотрел в добрые стариковы глаза, поблескивающие от огня раскрытой печки.

– Ну... на войне его приняли, – дядь Шура, в растерянности от своей утраты, вспоминал, видно, про деда все подряд, и теперь, благодаря Сашке, мог говорить все вслух, и он говорил, не особенно заботясь, слушает его Сашка или нет, – потом сюда уж вернулся и потерял где-то. Из начальников сразу поперли, а могли и посадить, времена-то были, не дай Бог.

– Что потерял?

– Партбилет! Бабка до конца жизни не могла ему простить.

Они замолчали. Печка трещала и выхватывала из темноты затоптанный пол, темные фуфайки, разостланные на полу.

– А как случилось-то? С дедом? – тихо спросил Сашка.

Дядь Шура вздохнул и отвернулся в сторону.

– Не уберег я его. – Он помолчал, вспоминая. – Угля нам привезли, Пашка с ребятами на станции договорился. Мне полмашины прямо в ограду ссыпали, а ему на улице, возле калитки. Мы мой сначала перетаскали в сарай, а то тут не пройти было, а на другой день решили его, но ты ж его знаешь. Пообедали, по рюмке выпили, пойду, говорит, свой прибирать. Я ему: давай подождем до завтра – нет, пойду. Что делать? Пошли. Ухряпались – еле ноги волокли, темно уже. В баню, говорит, пойдем, грязные. Собрались, пошли. – Дядь Шура замолчал, отвернувшись, хлопнул носом. – Захожу в парилку, а он лежит, мужики его поднимают, я еще подумал, упал что ли, убился, а он уже все. И не помылся.

Дядь Шура совсем как мальчишка давился горестными слезами, пока досказывал, потом отвернулся к печке и замолчал, утираясь.

Дед один лежал в горнице. В кухне и сенях было не протолкнуться, бабы стряпали, блины пекли, блюдо с кутьей, тазы с винегретом и котлетами стояли на веранде. Дверь все время скрипела, впуская и выпуская людей и холод. Печку не топили. Дед лишний день уже лежал, ожидая внука.

Сашка не знал, куда себя деть. Собрался было с племянником могилу копать, но старухи строго выговорили, нельзя, мол, близкому родственнику. Сашка ушел к дядь Шуре, посидел там один в пустой избе и все-таки пошел на кладбище. Пока дошел, замерз.

Колька с каким-то незнакомым мужиком долбили мерзлую глину, обрадовались Сашке, дело двигалось медленно. Початая бутылка стояла на столике у бабушкиной могилы.

Помянули деда и снова взялись за ломы. Сашка лопатой с неудобной короткой почему-то ручкой сгребал седую глинистую крошку и пытался думать про деда и про последние годы его жизни, но у него не получалось. Что он мог про него думать, если он совсем ничего не знал. Обрывки какие-то несвязные представлялись. И скучная, почти лишенная смысла и радости стариковская жизнь.

Детская память была ярче. Он вспоминал, как дед приезжал к ним в город с целым чемоданом яиц. Каждое было завернуто в свою бумажку. В кусок газеты. Как привозил Саш-

ке подарки и говорил, что прислала лисичка. Откуда взялась эта лисичка, Сашка не помнил. Но и большому уже посылал дед в письмах то трешницу, то пятерку – от лисички. «Всегда помнил обо мне, – думал Сашка, – письма писал, я и отвечал-то не на все, а он ждал, наверное. Нужен я ему был. Любил он. И любовь эта живая была, не просто так, вроде как положено внука любить. А за что любил? Я где-то там был и не помнил о нем. Даже о днях его рождения мать всегда напоминала».

Дедовы письма вспомнил. Дед любил писать. Один в горнице садился и часами сидел, думал, к бабке выходил советовать, по нескольку дней писал – откладывал и снова писал. Одинаково всегда начинал: «Дорогие дочка Галя, зять Коля и любимый наш внучек Сашенька. Во первых строках своего письма сообщаю вам, что все мы живы и здоровы. Бабка моя только лежит все время, мается с ногами...» – и в конце обязательно упоминалась лисичка, которая посылала Сашеньке рубль на мороженое и просила прощения, что мало, а то денег сейчас совсем нет.

Они останавливались передохнуть и подходили к бутылке. И чем меньше в ней оставалось, тем глубже становилась яма и веселее копальщики. Мерзлый слой кончился, и пошло легче. Колька, довольный, подравнивал аккуратно стенки:

– Ничего, дядь Паш, сделаем как надо, не волнуйся.

К вечеру мороз только усилился. Все замерзли и поторап-

ливались. Две женщины держали мать. Она выла, некрасиво раскрыв рот, от бессилья уже не открывая глаз. Черный бархатный платок сполз с головы. У оркестрантов все время замерзали трубы, и они совсем перестали играть и тоже пили водку. Народу было немного. Какие-то дальние родственники из окрестных деревень да кто-то из соседей. Сашка, кроме дядь Шуры и Кольки, не узнавал никого.

Поминок Сашка не запомнил. Мужики, не зная другого способа, как помочь, настаивали, чтоб он пил больше, и сами с ним пили, радуясь тому, что они много пьют за деда, и дружески хлопали его по спине – все там будем. И Сашка благодарен был им за это глупое ухаживание и тоже пил полными рюмками, как будто понимая, что делает. Вскоре Сашку чуть живого увели к дядь Шуре и положили спать.

Кровать то медленно поднималась на дыбы, то заваливалась набок, он скидывал колючее одеяло, садился и дышал глубоко, но стоило сесть, как тошнило еще сильнее и казалось, что это не водка, а какая-то черная гадость хочет замазать своим черным его прекрасную и радостную жизнь с дедом. И дед помогал Сашке, все время был рядом, то подшучивал, что внук напился, и ругал его беззлобно, то гладил по голове тяжелой рукой и прижимал к себе. И Сашка не вырывался, как он делал это в детстве, а прижимался тоже. Он успокоился и уснул сидя, уткнувшись лицом в мокрые ладони.

Утром пришла мать. Села на кровать. Спрашивала обес-

силевшим голосом его совета, кому что отдать, но Сашка почти не слушал. Болела голова. Знобило. Ему казалось, что он простыл, что у него жар и все это только тяжелый сон, а он все не может проснуться. Надо было поскорее сесть в поезд и вычеркнуть из памяти эту поездку к деду.

– Дед тебе тысячу двести рублей оставил. Сашка посмотрел на нее, пытаясь понять, что она сказала. Откуда у деда могло быть.

– С копейками... дядя Шура принес. И письмо вот.

«Дорогая моя дочка Галя!

Если помру, дом продай, сама-то ты сюда не поедешь. Не продешеви! Меньше чем за пять не продавай, я узнавал. Сысоевы на том конце улицы за четыре продали, а наш лучше. Дом теплый, не старый, в пятьдесят втором году ставили с Шуркой и с Васькой Грачевым. Осенью. Сталина еще потом весной хоронили. Веранду и крыльцо – как раз в шестьдесят первом я доделал. Крышу железом крыли совсем недавно. Так что – не отдавай дешево. Огород на задах у нас не оформленный, но ты не говори ничего.

Денег Сашке на свадьбу коплю, а помру, так отдай сама ему. Пусть сам уж, память ему обо мне. Об нас с бабкой. Она надоумила, Царство Небесное. На обзаведенье. А может, еще и сам отдам. Спроси у него, жениться-то не скоро думает? Да чтоб не мотал! Я лишний раз рюмки не выпил, Шурка куркулем из-за них меня звал.

Шурка сам ничего не возьмет. Так ты отнеси ему тулуп

мой, пусть ушьет и носит, он на него завидовал. И пусть всю мастерскую себе заберет. Скажи ему, что, мол, Пашка велел. Курей он, наверное, откажется, он их не любит. Он только яйца любит да как петух орет. Вот и пусть петуха берет. Вдвоем будут.

Да, если помру, напиши его Верке, чтоб она про отца не забывала. Я писал ей, да она не ответила. А ты напиши, что дядя Паша, мол, помер, отец тут один!

Так вот, пока. Пока все. Завтра, может, еще чего надумаю».

Дядь Шура вошел, громко брякнув дверью в сенях, похмельный и почти веселый, если бы не лихорадочный, усталый блеск в глазах. Заговорил торопливо, как будто что-то хорошее забыл сказать:

– Посылку-то твою он получил!.. На почту только не успел сходить, ети ее мать! Два дня собирался, да уголь этот... Хвастался, – он растопырил руки и выставил ногу, передразнивая деда: – теперь у меня, говорит, такие же, как у тебя носки будут!

# ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Конец августа. Полдень. Жара. Мы с Белым рыбачим с лодки посреди широкой волжской протоки. Час назад рыба как-то внезапно перестала клевать, и мы валяемся у своих снастей, разморенные духотой и бездельем. Вокруг теплые летние просторы. Широко. Ближние острова еще видны, а дальние на левой стороне Волги едва угадываются сквозь марево. Наша большая деревянная гулянка плавно поднимается и опускается на сильном течении. Якорные веревки дрожат от напряжения и уходят наискосок в глубину в зеленую прохладу, пробитую мерцающими столбами солнечного света. Укачивает. Давно понятно, что делать здесь уже нечего, но даже пошевелиться лень.

– Может, поедем, уху сварим? Еды совсем никакой.

– ...

– Белый?!

Юрка убирает майку с сонного лица и лежит с открытыми глазами, сон, видно, вспоминает, потом садится, зевает и чешет красную шишку на пузе – укус овода. Снова зевает. Но уже по-другому – просыпаясь. Башкой крутит, как будто чего ищет в небе, потом внимательно щурится куда-то мне за спину. И, наконец, неожиданно бодро сползает с рундука.

– Вставай, давай! – начинает вытаскивать свои удочки.

Я оборачиваюсь и вижу, что небо за Волгой черное! В это

не верится – вокруг нас тихая летняя благодать, ленивая и плавная, а всего в пяти километрах сине, черно и холодно. Берусь за снасти. У меня пять удочек на двадцатиметровой глубине. Торопимся. Сопим. Поглядываем на быстро наползающее темно-фиолетовое небо. Минут бы десять еще, – думаю, а сам рад – все-таки удирать от грозы веселее, чем маяться от безделья.

Вместе с чернотой налетел ветер, погнал рябь, закачал.

– Удочки сматывай на лещотки, а то все перепутается, – ворчит на меня Белый.

Он уже смотал две свои донки, стоит, сложив руки на груди, изучает тучу. Мне, гад, не помогает из принципа – считает, что не надо так много удочек ставить.

– Грозовая, – решительно заявляет он, – сейчас врежет. В прошлом году такая вот пароход на Пески выкинула. Как раз оттуда идет.

Последнюю леску вытягиваю, не сматывая, прямо себе под ноги. Ветер еще наддал, пошел сильными холодными порывами. Сорвал один из якорей, развернул лодку, и она, как будто растерялась, неловко переваливается с боку на бок, чуть-чуть не черпая тяжелым бортом. Быстро надвигается тьма.

Пока я вожусь с мотором, Белый тащит большой носовой якорь. Лодка, то зароеется носом до самой каюты, то будто в гору лезет. Белый босой, ему скользко, ноги растопырил, тянет мокрую, вибрирующую веревку, орет мне что-то, но

я не слышу, никак не наматаю ремень на промасленный и мокрый маховик. Наконец удается. Крепко захватываю конец ремня, другой рукой упираюсь в рундук, приспособливаюсь и дергаю. Мотор неуверенно тукнул два-три раза и, слава Богу, взревел. Хватаю штурвал и среди больших уже волн, аккуратно, по длинной дуге закручиваю в сторону лагеря. Лодку здорово кидает.

До нашего острова километра два. Движок стучит неровно, иногда ему слишком тяжело. Лодка то вдруг замирает на месте, упираясь в огромную серо-желтую волну, то несется вниз по гладкой горе, прямо в глубину. Хоть и бывало это не раз, а сердце невольно замирает. Кажется, что сейчас точно нырнем! Но там, впереди, что-то меняется, горка превращается в другую горку, ползущую навстречу. Она охватывает нос, взлетает крыльями-фонтанами с двух сторон и окатывает нас с Белым. Под стланиями уже хлопает. Вокруг темно как в сумерках. Над островами хлещут молнии. На душе страшновато, но и весело, по всему видно, что это обычная летняя гроза. Пропрет и оставит после себя приятную свежесть, умытые деревья и траву, запахи речные проявятся. Лагерь еще далеко, от ливня нам уже не уйти, но от ветра как раз спрячемся за островом.

– Сейчас влупит, – Белый, хватаясь за что придется, прячет вещи в каюту.

– Червей убери, – кричу.

– Чего?

– Червей, – показываю на ведро под лавкой.

Ливень настигает у самого лагеря. Чалимся, привязываем лодку и, притащив на себе кучи мокрого песка, залезаем в палатку. С нас течет. Где-то рядом в кустах, с треском, как будто дерево падает, молния. Замираем, прислушиваемся – может, и правда дерево? В воздухе сильно пахнет электричеством. В палатке все же не так страшно, а когда удар уже кончился, кажется, что и совсем не страшно. Я вытираюсь сухой рубашкой и подвязываю вход, чтоб видно было наружу.

Ветер ослабел, перестал качать деревья и рвать кусты, а вскоре и совсем стих. Все замерло. Только ливень все набирает и набирает. Валится сверху тяжелыми хлыстами. По песку мимо палатки текут мутные, пенные ручьи. Река кипит на всем пространстве. Там никого, только непонятная одинокая лодка с едва различимым силуэтом медленно сплывает вдоль нашего острова.

– Что у него мотор, что ли, гавкнулся? – вслух думает Белый.

– Блеснит вроде, в отвесную.

– В такой ливень?!

– Да хрен его знает... Машет вроде удилицем.

Белый уткнулся в свою «фантастику», а я все наблюдал за лодкой. Человек в ней завел мотор, поднялся выше судачьей ямы, заглушился и снова опустил снасть на глубину. Я разглядел его. Мужик был без рубахи и штанов, в одних трусах.

Его нещадно поливало.

– Белый, а у него клюет. Он опять переехал.

Юрка поморщился, не отрываясь от чтения.

– Может, попробуем после дождя?

Белый, жадный до судаков, откладывает книгу и высовывается из палатки. Ливень не стихает, он теплый и мощный и вскоре должен кончиться. После него всегда хорошо рыбачить. Белому, конечно, тоже охота поехать, но сначала он должен сказать свое слово против.

– А уху варить?

– Да ладно, чайку попьем.

– А блесны?! Нет же блесен...

Он как будто даже обрадовался, что у нас нет таких блесен, и снова взялся за книжку. Я откинулся на подушку. Ливень не унимался, норовил порвать тент, а в палатке было тепло и уютно. Я натянул на себя одеяло и уснул. Это тоже было неплохо.

Когда проснулся, дождь уже кончился. За тонкими стенками палатки какая-то особенная тишина. Слышно, как с деревьев падают одинокие тяжелые капли. Птички заливаются звонкими, промытыми голосами. На берегу слышен голос Белого.

– Ни хрена себе. – это он уже второй раз повторяет.

– Ну, п-пока д-д-дощь-то шел, как по-по-перло, – отвечал сильно заикающийся, окающий голос.

Я вылез из палатки. У берега стояла широкая деревянная лодка с местными деревенскими номерами, в которой что-то рассматривал Белый. У костра на корточках сидел мужик лет сорока со слипшимися, как мочалка, выгоревшими волосами и протягивал руки к огню. Длинные семейные трусы в цветочек и с прорехами мокро облепляли его худые ноги. Только что, видно, зажженный костер горел плохо, больше дымил. Мужик, отчаянно дрожа – тряслись руки, плечи и даже колени, – пытался подклады-вать мелкий сушняк.

– Здорово.

Мужик не сразу ответил. Не мог. Унимал тряску, глядя на меня то ли извиняясь, то ли сердито.

– З-з-з, ой, еп. Здо-до-рово... т-тут у вас по-по-греться чуток, – выпалил он, наконец. – Красень-кого вмажешь? – мотнул головой на бутылку вина, лежащую рядом с ним на песке.

– Не, спасибо, – отказался я, покосившись на бутылку без этикетки с прилипшим к ней речным мусором.

– Чё ты, давай... красное... – он взял одну из наших кружек, дунул в нее, налил трясущимися руками и медленно выпил все сразу. Сморщился, как от кислого. – У вас пожрать-то ничего нет? С утра не жравши – с бабой разосрался, прям с утра раннего.

– Нет ничего. Не варили, – махнул я в сторону грязного котелка у костра.

Неудобно было, как всегда бывает неудобно перед челове-

ком, просящим еды, но у нас действительно ничего не было. Только две банки тушенки, заначенные на черный день. Да и, сказать честно, не очень приятно было, что он приперся к нам в лагерь, где мы всё бросали без присмотра...

– Это ты вот на эту самоделку ловил? – Белый все не мог успокоиться.

– Ну, – закивал мужик.

Я подошел к лодке. В ней было полно воды. На всплывших стланях лежало с десятков крупных судаков и две пустые бутылки.

Мы с Юркой бросились мастерить блесны. Мужик смешно дрожал и подсказывал, как лучше сделать. Когда уезжали рыбачить, он оставался у костра. Сидел на корточках, спиной к нам, что-то бормотал и время от времени взмахивал руками. Он согрелся и здорово захмелел, и до нас ему уже не было никакого дела. Мы, признаться, посматривали за ним – не упер бы чего, больно уж простой, да и крепкий пьяница, видно, но когда он уехал, не заметили. Блеснили долго и бесполезно. Ничего не поймали. Я временами неприятно вспоминал про тихо исчезнувшего мужика, брать-то у нас нечего было, но документы на лодку и мой паспорт лежали в палатке.

– Может, он свою блесну в бормотухе мочил? – кисло пошутил Белый, когда мы на закате причалили к лагерю.

На острове было тихо, сыро, и казалось, что холодно. Солнце садилось за Попов остров, красило тревожным оран-

жево-красным воду, палатку, прибрежные кусты и деревья.

– Всё на месте, – сказал Белый, вылезая из палатки.

Я привязал лодку и наткнулся на двух здоровых судаков. Они лежали на песке у самой воды. Я недоверчиво тронул ногой – судаки были свежие.

– Белый, ты посмотри-ка, он нам рыбы оставил.

– Ты иди сюда, посмотри.

Я подошел. Возле костра, вдавленная в песок и аккуратно прикрытая кружкой, стояла бутылка. Отпитая ровно на треть.

# ГУСИ-ГУСИ, ГА-ГА-ГА...

Пока Степан отчерпывал воду, отец сложил в лодку канистры с запасным бензином, палатку, еду, патроны. Сверху навалил утиные и гусиные чучела в больших сетках, утрамбовал их, но все равно получилось горкой. «Казанка», которую дал им егерь, старенькая, давно уже без переднего стекла, оказалась не такой уж и большой. Отец зашел с носа и столкнул лодку поглубже.

Он был в высоких болотных сапогах, хорошей камуфляжной куртке, из-под капюшона которой торчали густые моржовые усы, мокрые от дождя. Все было готово, чтобы плыть, но отец отчего-то медлил. Вышел на берег, внимательно поглядел вниз по речке и, бросив Степану «я сейчас», пошел к егерскому дому.

Степан доскреб со дна грязную, с песком и мусором воду и уселся поближе к мотору. Было тихо. Серое небо сыпало на речку мелкую морось. Капельки были такие маленькие, что не оставляли следов на темной текучей поверхности. Степан подставил ладонку, она была мокрой и холодной и тоже не чувствовала, но дождь ощущался щеками, и все вокруг мокро блестело.

Отец пришел с ящиком, из которого торчали сети.

– Рыбки на уху не помешает... Ты как? Не промок?

– Нет. Дай я порулю, – попросил Степан.

– Давай. Лодка не течет? Не заметил?

– Нет, вроде... я все отчерпал.

Отец подкачал бензин, дернул несколько раз – мотор не заводился, он привстал, дернул сильнее, мотор взревел. Сильный дым потек по воде.

– Пусть прогреется... – он повернулся к Степану. – Значит так, до озера двадцать пять километров – час делов. Потом дельта большая будет. Это еще километров пять-шесть по протокам. Там, Михалыч сказал, правее надо держаться, – он снова пристально посмотрел вниз по реке, думая о чем-то, потом встал и оттолкнулся шестом. – Ладно, мимо озера не проедем. Поздновато только.

Лодку зацепило и повлекло течением. Дым из теплой егерской избы стелился по мокрому лугу. Михалыч с охапкой дров стоял на крыльце и молча смотрел им вслед.

– Ну что, Степаша, с Богом, что ли? Про льдины помнишь?

Степан включил скорость, лодка медленно двинулась, а отец вытер мокрые руки о штаны и достал сигареты. Дождь, конечно, малость портил дело, но настроение было хорошее. Пока удачно все складывалось. И из Москвы они проехали почти шестьсот верст всего за семь часов, и егерь оказался дома, и собрались быстро. Отец еще раз окинул взглядом укладку – вроде всё положили.

Они были здесь впервые, и пока отцу все нравилось. Егерь

говорил, что утки уже полно, а иногда – год на год не приходится – бывает и пролетный гусь. Отец закурил и весело глянул на Степана. Будет там гусь или не будет – это не важно. Может, это вообще фигня. Вон сидит за мотором его маленький рулевой – это да. Ему захотелось подмигнуть своему девятилетнему сыну, но тот внимательно смотрел вперед – прищурился, и чувствовал, змей, что отец смотрит, и даже не покосился – занят же, чего ж тут. Ну, ну – отец тихо улыбался в усы.

Когда-то они так же охотились со старшим сыном. Но старший вырос... старший уже студент. Его вдруг ревниво кольнуло, что и младший вырастет, и он ему станет не нужен, как не нужен теперь старшему. Эта мысль была для него не новой, но сейчас было не до нее. Они с младшим ехали на дальнее лесное озеро, где никого нет и полно уток и где они будут охотиться и рыбачить целых три дня.

Пока плыли вдоль деревеньки, Степа держал небольшую скорость. Ему, может, и хотелось, чтобы кто-то увидел, как он рулит, но это было не так важно. Он не понимал, как здесь вообще живут. Дорога сюда была такая, что даже их здоровый джип два раза застревал. Вся деревня была скучная, покосившаяся, тихая под дождем. Никого не было видно. Он хотел спросить у отца, кто же здесь живет, но не стал – уже проезжали мимо последней, почерневшей от старости баньки и мостков. Степа добавил газу, мотор зазвенел, лодка заскользила свободнее, и он крепче ухватился за борт.

Был уже конец апреля, но весна здесь сильно запаздывала. Тихо, почти по-зимнему, текла речка. Кое-где плыли по ней тяжелые скользкие льдины. По крутому правому берегу стоял мокрый от весенних туманов и дождя старый сосняк. Из него тянуло влажным лесным снегом.

Степан внимательно глядел вперед, он уже дважды наезжал боком на невидимые в воде льдины, а один раз зазевался и проехал краем сухих прошлогодних камышей. Речка местами была совсем узкая, поэтому он осторожничал и на поворотах сбрасывал скорость. Зато на плесах разгонялся. Волна от лодки желтоватым шелковым веером уходила вбок.

– Рука не замерзла? – кивнул отец на мокрую детскую ручку, сжимающую толстый румпель. – Может, я поведу?

Степан покачал головой.

– Так, – отец посмотрел на часы, – полшестого, до темноты еще часа четыре.

– Чего? – не понял Степан из-за шума мотора.

– Успеть бы, – заговорил отец громче, – до темноты определиться. Да у костерка посидеть – посмотреть, как утка тянет.

Через полчаса Степан явно замерз, и отец устроил его от ветра на дно лодки, а сам сел к мотору. Поехали быстрее. «Красивые места, – думал отец, обсасывая с усов капли дождя, – погоду бы поправить, вообще бы весело было».

Он очень любил такие речки с тихими темными омутами и прозрачными перекатами, с деревьями над водой. Ни

рыбалки хорошей, ни охоты здесь никогда не было, поэтому ездил он в такие места редко. Но когда случалось, забывал про поплавок, который обычно и не шевелился, и наблюдал за тихой жизнью кувшинок, стрекоз и водомерок, сереньких незаметных мальков, греющихся на солнце. Это была речка его детства.

Справа пришел небольшой приток. Вода в нем была мутная, поверху плыл лесной мусор. Отец сбросил скорость, посмотрел на часы – уже должна была начаться дельта, но и намек на нее не было. Он начинал волноваться, хмурился, что не выспросил все как следует. Отец был опытным охотником и знал, что незнакомая дорога всегда настораживает и оттого кажется длиннее, но прошло уже больше часа, а речка все так же – поворот за поворотом – шла хорошим старым сосняком. Отцу мнилось даже, что они плывут не к озеру, а в какую-то лесную глушь. Все дальше и дальше забираются. Из-за пасмурного неба ему казалось, что вот-вот стемнеет. В голову лезла всякая чушь, иногда он думал даже, что поехал не в ту сторону, и что, может быть, озеро находится вверх по течению.

Вскоре кончился бензин, и отец ткнулся в песчаный берег. Место было красивое – сосняк, чисто, прямо напротив небольшая полянка для палатки, усыпанная мягкой хвоей. Хорошо было бы здесь ночевать, костер на песочке запалить, посидеть, погреться, на весеннюю воду посмотреть. Так думал отец, наливая бензин, и так действительно было бы луч-

ше, но это нарушало их планы, а он не любил отступать.

Мотор все звенел и звенел в холодном вечернем воздухе. Степа лежал среди вещей на дне лодки, уже не глядя по сторонам. «Надо таборить-ся, – думал отец, – сам-то уже замерз...» Но он даже скорости нигде не сбавил, видимо, что-то чувствовал, не раз же так бывало, что вот едешь-едешь и уже готов сдаться и ночевать где придется, а тут как раз и огонек костра впереди, в полной уже темноте.

Река сделала длинный правый поворот, и он увидел, что лес начал расступаться, как будто даже посветлее стало. Русло разошлось, появились небольшие островки, придавленные половодьем. Лодка быстро скользила по вьющейся, бегучей глади. Лес остался сзади. Впереди показались камышовые острова с проблесками воды между ними. Это уже были разливы. Судя по простору, который открывался впереди – озеро было большое. И утиное. Чем ближе охотники подплывали, тем чаще и чаще взлетали утки. То справа, то слева, а иногда и сзади.

– Крякаши, Степ, смотри, ту-у, ту-у, – «стрелял» отец по поднимающимся впереди крупным уткам, – красавцы! Ух, шулюм из вас сварим! А вон, смотри, Степка, да не там, а вот, совсем рядом, – показывал он пару затаившихся в траве широконосок.

Это было настоящее охотничье счастье: утки было много и она была непуганой. У отца зачесались руки зарядить ружье, но охота открывалась только завтра с утренней зари. Он

решил ничего не трогать по дороге – все-таки это тоже здорово – когда вокруг полно непуганой дичи.

– Приедем, палатку поставим, всё наладим, тогда, может, парочку на шулюм бабахнем, – ответил он на вопросительные взгляды Степана.

Красиво было. Лодка уверенно вписывалась между камышовыми островами, оставляя за собой резвый белый след, отец с сыном возбужденно вертели головами следом за крикухами и чирками, рассматривали их, показывали друг другу. В одном месте – они как раз выскочили из-за камышей – слева вдруг загоготало, захлопало, отец пригнулся, заглушил мотор и махнул рукой Степану.

Совсем рядом с черных грязей небольшого острова, с полегшей рыжей травы взлетали гуси. Тяжелые неуклюжие птицы с пугающим шумом, скандально и резко крича, коротко бежали, взмахивая сильными крыльями, и потом почти разом поднимались в воздух. Соседний островок тоже неожиданно загоготал и захлопал крыльями.

– Вон еще, – шептал Степан, показывая направо.

В небе вокруг летало больше сотни гусей. Горланили недовольно, что их потревожили. Никакого порядка, обычного для этих умных птиц, не было. Большинство отправились в сторону озера, но многие, отлетев недалеко, тут же планировали на посадку на соседние острова, а некоторые сдуру налетали на выстрел. Но ружье было не собрано, да и не любил отец такой шалопутной стрельбы. Этими

неурочными выстрелами можно было, конечно, свалить одного-двух, но почти обязательно разогнал бы остальных и испортил всю охоту.

– Достать ружье? – спросил Степа шепотом, прячась за сеткой с гусиными чучелами.

– Терпи, Степаша, ничего сейчас трогать не будем, ты видишь, что делается. Тут такая глушь, тут, похоже, с зимы никого не было. Видишь, на озеро тянут, давай-ка и мы туда.

Он завел мотор и лодка на самом малом, почти беззвучно, двинулась по протоке. Вскоре острова кончились, пошли редкие камышовые колки, залитые половодьем по самые макушки. Но вот кончились и камыши, и охотники выехали на чистину. Впереди, по всему серому горизонту, прямо на воде лежало густое облако тумана, ничего не было видно – ни другого берега, ни островов, о которых говорил егерь.

Отец, не зная, куда двигаться, опять заглушил мотор. Из тумана шел глуховатый многоголосый гусиный гул, и не из одного места, а отовсюду спереди. Это было невероятно – никого не было видно, но все облако горланило на разные голоса.

– Господи, сколько же их там...

– Это гуси?! – спросил Степан, пытаясь вытащить голову из-под мокрого капюшона.

– Да, Степа, это гуси, только это не просто гуси – это очень много гусей, Степа, – отец как будто и не радовался, он был то ли сосредоточен, то ли растерян, не понять по нему бы-

ло. – Сейчас надо хорошо думать. Да-а-а! Кто бы знал, что вот их тут сколько.

Дождь неожиданно усилился. Посыпал крупными каплями, заколотил по лодке, по пластиковым гусиным чучелам, пузырями зашипел по воде. Но отец будто и не замечал этого.

– Что же нам делать, Степа, что же делать? – только и повторял он, разговаривая сам с собой и прислушиваясь к гусиному гулу. – А, Степка, куда двинем?

– Мы же хотели на острова.

– Это неплохо бы, да только где они, эти острова?

Отец еще некоторое время что-то соображал, потом решительно завел мотор. Лодка вползала в туман, как входят в парилку с мокрым паром – хотелось выставить руку.

– Фью! – присвистнул тихонько отец. – Глянь-ка назад, Степаша!

Теперь уже и сзади ничего не было. Они были в облаке.

– Мы как будто в раю, – Степа осторожно загребал рукой белый воздух, – как будто под нами небо.

Шли на самом малом, боясь во что-нибудь врезаться. Уже довольно долго шли, а вокруг было по-прежнему бело, отец все время посматривал на след за кормой, стараясь двигаться хотя бы по прямой. Он уже думал развернуться и поискать место где-нибудь в дельте, да боялся совсем заблудиться. Но вот туман поредел, отец прибавил ходу, и вскоре впереди обозначилась темная гребенка леса на другом берегу, а

по озеру, особенно ближе к их берегу, открылись острова.

Недалеко от них был большой остров, заросший высоким кустарником и камышом. Там, скорее всего, и палатку можно было поставить, и сушняк нашелся бы. «Надо разгрузиться, выбросить лишнее, а потом искать место для охоты», – думал отец, но не доехал до острова. Стало мелко, местами по темной поверхности стелились густые пойменные травы. Он повернул и медленно поехал вдоль острова, снова приближаясь к облаку. Оттуда даже сквозь бормотание мотора хорошо слышался шум гусяного базара.

Степа устал, и ему хотелось на какой-нибудь берег. Они поднялись сегодня в пять утра и вот до сих пор никак никуда не приедут. Когда он понял, что отец не собирается чалиться, он хотел было запротестовать, но посмотрел на отца и не стал, и даже улыбнулся про себя: отец был похож на их кота Гошу, крадущегося к птичке. Степа стал смотреть вперед, но никакой птички там не было, а была одна вода да туман.

– Пап, а... вон впереди, – Степа показал рукой на странный светлый бугор, торчащий среди темной воды.

Это был крохотный островок тридцать шагов в длину и двадцать в ширину. Он едва выступал над водой и был покрыт толстым слоем полегшей прошлогодней травы. С одной стороны на него наторосило ветром гору льда, которую они и увидели. Отец причалил, вылез в воду и вытащил лодку.

– А ведь это то что надо, Степушка. А? Гуси-то где-то близко, слышишь.

– Но здесь нет дров и совсем лысо, – не согласился Степа. – Давай лучше на том острове.

В это время из тумана раздался мощный шипящий гул. Охотники обернулись.

– Ё-мое! – Отец внимательно глядел куда-то в разрывы тумана.

– Что? – не понял Степа.

– Ты, что, не видишь?

– Нет.

– Да вон, смотри, – шептал отец, – двести метров. На льдине они сидят, вот почему здесь туман.

Степан напряженно вглядывался, но видел только молоко тумана, и вдруг как будто совсем близко увидел серую льдину и темную копошащуюся массу на ней. Эта черная, жирная гусеница уходила налево и направо, нигде не прерываясь. Время от времени часть гусей поднималась в воздух, как пчелиный рой, и создавался этот странный шипящий ветер. Сделав небольшой круг, гуси тут же садились. Издали казалось, что друг на друга.

Они заторопились. Стали вынимать из лодки все вещи, стлани, весла. «Какой же он у меня молодец, – думал отец, откручивая мотор, – вроде и маленький еще, а вполне помощник». Он опять вспомнил про старшего, был бы он сейчас, они бы, конечно, всё побыстрее сделали. Старший – толковый, и стреляет прекрасно. Сейчас бы уже всё устроили и

сели ужинать втроем. Он снял мотор и отнес на траву. Потом подвел пустую лодку к торосу, и они вдвоем с разбегу выволокли ее на берег, прижав правым боком к белой рассыпчатой ледяной горе. Гора была выше человеческого роста и хорошо их прятала.

– Ну, молодцы мы, – отец был доволен. Мыл руки от песка и внимательно смотрел, как встала лодка, – все нормально, весло вон только погнули малость, – он вышел на берег. – Мы-то молодцы, а брат твой любимый сейчас где-нибудь тусуется, дурачок, а мог бы с нами быть.

Отец сел на край лодки и достал сигареты.

– Степа, а ты не обратил внимания на одно приятное изменение?

Степа развязывал сетку с гусями. Он был не очень согласен с отцом насчет брата, хотя, конечно, было здорово, когда они ездили втроем.

– На какое?

– Ну, ничего тебе в глаза не бросилось, такое – приятненькое, – отец развел руками вокруг, он готов был расхохотаться от Степкиной недогадливости.

– Лодка что ли на берегу стоит?

– Остроумно, но ответ неправильный. Степка, оглянулся вокруг. Они часто играли с отцом в такие загадки, но сейчас надо было расставлять гусей.

– Дождик кончился! – скорчил отец рожу, довольный тем, что Степан не догадался, и тем, что дождик кончился.

– Так он давно кончился, – не согласился Степан.

Отец закурил. Хорошо было. Даже вроде и тепло. К гусиному гомону они как будто уже привыкли, и казалось, что совсем тихо. Или это только казалось из-за того, что вокруг, кроме белого влажного воздуха, ничего не было видно. Степа доставал из сетки чучела гусей. Они были плавучими, на каждом веревочка с якорьком – чтобы не унесло. Он разматывал веревочки и расставлял на мелководе.

– Штук пять на земле посади. Вон, на мысочке. Там, кстати, больше всего гусяного помета, ты заметил?

Когда закончили, уже хорошо стемнело. Нос лодки был завален льдом, маскировочная сетка, натянутая под острым углом, совершенно скрывала лодку. В дырки сетки Степан нарезал и навтыкал пучки травы. Отец отошел на дальний конец островка. Все было очень неплохо. Казалось, что это просто островок с бугром на конце, к которому прибило лед.

– Шикарно. Молодец ты! Осокой не порезался? Степан порезался, но ничего не сказал. Ему было приятно, что они работали на равных. Снова закапал дождь, но у них на душе было радостно и по-хорошему тревожно, потому что к охоте все было подготовлено и до рассвета оставалось недолго.

– Ну все, Степка, давай ужинать, – отец достал из-под тента, пластиковое ведро с продуктами. – Что тут у нас? О-о-о! Яйца вареные, огурцы! Я голодны-ы-ый! На-ка, порежь...

– А я какой голодный, – Степка хитро посмотрел на отца, – могу всю ветчину съесть!

Это была старая шутка. Когда ему было четыре года, он, пока отец с братом охотились, не торопясь, слопал целиком почти килограммовый кусок ветчины. Они не поверили, думали шутит, даже обыскали все, но ветчины не нашли, а пока они искали, Степа ушел в палатку и мирно уснул. Такая вот история.

Вскоре у них на коврике лежали хлеб, зелень, ветчина, огурцы и помидоры, порезанные на половинки и посыпанные солью. Степа налил себе чая из термоса, а отец полез под тент за коньяком.

– Степа, старый я осел, сетку-то забыли поставить.

У Степы в одной руке было очищенное яйцо, в другой огурец, и он как раз решал, что откусит сперва, но отец уже тащил ящик с рыболовной сетью к берегу.

– Давай. Не будем лениться, – отец поставил ящик, взял конец сетки и пошел с ним в воду. – Следи, чтобы не цеплялась!

Мягкой змеей ползла сеть из ящика через Степины руки вслед за отцом. Поначалу, сухая, она плыла по поверхности, потом намокала и уходила нижним пригруженным концом на дно. Когда в ящике осталось совсем мало и Степа приготовился поймать конец, движение вдруг остановилось.

– Ой-ей! Ой-ей-ей! – отец, причитая и держа руками вершины сапог, вышел на берег. – Вот я дал, Степа! – он сел на ящик и стал опускать отвороты. Штаны были мокрыми. – Не заметил, что глубоко... черт, даже задница...

Сапоги были полны воды. Он снял и отжал шерстяные носки. Потом стянул штаны. Ноги покрылись гусиной кожей.

– Надо чтобы подсохли малость, дай-ка мне коньячку. Ну что у тебя за папаша! Как ночевать-то буду? – отец всегда смеялся над собой в таких ситуациях.

– Сейчас принесу, – сказал Степа и побежал к лодке. Там, в непромокаемом ящике, лежали его запасные вещи. Он достал чистую рубаху и принес отцу. – На, вытрись.

Отец сушил ноги рубашкой и завидовал сам себе, с нежностью думая о своем младшем сыне. У Степана всегда была ясная голова. И азарт охотничий был, но и недетская наблюдательность, и терпение, и широкий ясный взгляд на мир, с которым Степан жил в удивительном согласии. С ним, несмотря на возраст, всегда интересно. Со старшим так почему-то не было.

Тем временем наступила ночь. Светлая северная ночь, когда все вокруг только теряет цвет и погружается в короткую дрему. Снова заморосил мелкий, едва заметный дождик. Отец вытерся, напялил мокрые носки и штаны, и они наконец сели есть. Степа выплеснул остывший чай, налил горячего, а отцу коньяку. Отец взял кружку, взвесил в руке, заглянул в нее:

– Ого! Ну ладно, давай, – они чокнулись, отец на секунду задумался. – Ты знаешь, я хочу за тебя выпить... как за своего... товарища, – отец хотел сказать «друга» или даже «брата», но не сказал. Он почему-то стеснялся смотреть на

сына, и, хотя сказать хотелось, от набежавших чувств уже мокрело в глазах. – Мне с тобой очень хорошо на охоте. По-настоящему. Ты понимаешь. И вообще... спасибо тебе. – и он выпил.

Степан ел холодный помидор и запивал его чаем. Ему тоже стало как будто немножко неудобно, он откусил слишком большой кусок помидора, облился его соком и стал усиленно отряхиваться.

Спали они плохо. Степке в пуховом спальнике, прикрытом тентом, было тепло, но все время мерещились гуси, налетающие на их скрадок. Он несколько раз просыпался и спрашивал, сколько времени и не пора ли вставать. А отец задремал поначалу, но быстро замерз в мокром спальнике и уже не спал. Лежал, кемарил вполглаза и следил, чтобы Степка не раздевался. Когда уже совсем начинал дрожать, вставал, выпивал коньяку и бегал кругами, приседал. Гуси ночью кричали меньше, иногда совсем замолкали.

Еще не рассвело, когда он окончательно вылез из спальника. Помахал руками, пробежал несколько неуклюжих кругов вокруг Степки, устал и сел на ведро, крепко зевая. Закурил сигарету, но натошак не курилось, и он пошел в лодку и стал готовиться.

Справа от себя устроил сиденье для Степы, потом все ненужные вещи засунул в нос, чтобы ничего не мешало и легко и быстро можно было развернуться с ружьем в любую

сторону. Из специального ящичка достал патроны, манки, разложил всё так, чтобы было под рукой. Манков у него было два – толстый деревянный с грубоватым голосом – на гуменника, и маленький прозрачный, слегка писклявый – на белолобого гуся. Он негромко «ка-гакнул» в каждый – все работало. Все было готово. Только Степка нарушал маскировку островка ярко-желтым спальником. Будить его не хотелось.

Было уже без десяти шесть, но горизонт оставался серым и тяжелым, и почти ничем не отличался от ночного, да и пусто и тихо было вокруг, как всегда бывает перед рассветом. Отец закурил, открутил крышку термоса и налил в нее чаю. Подумал и добавил коньяку. За маскировочной сеткой, увешанной травой, было уютнее и как будто теплее. Можно было и позавтракать, как раз бы и светать начало, но без Степана не хотелось.

В это время Степан, будто услышав отца, завозился в спальнике. Отец присел возле.

– Степа, – позвал осторожно.

Степа спал крепко, даже слегка похрапывал. «Устал мальчишка», – отец разглядывал правильные черты смуглого Степкиного лица.

– Степаша... наверное, пора уже вставать. Давай... чайку попьем...

Степан резко поднял голову, сел и стал шарить руками очки, широко глядя на отца красивыми темными глазами. «Что-то уж больно быстро проснулся, – подумал отец».

Степа вылез из спальника, отошел к берегу и стал растягивать штаны.

– Слушай, пап, а тумана мало совсем, – голос совсем сонный, лишь струйка бодро звенит по песку.

Отец оглянулся в сторону льдины – туман уходил на глазах. Не сдвигался, не поднимался, как это часто бывает, а исчезал, будто испарялся. Все прояснялось. Несмотря на утреннюю сумеречь, уже хорошо были видны и озеро, и острова. Отец с сыном стояли и как замороженные смотрели в сторону льдины. На ней было черно от гуся. Собственно, самой льдины и не было видно, это была широкая черная полоса. Отец глазам своим не верил, никогда он такого не видел. Гуси вели себя на удивление тихо. В бинокль было видно, что большинство спокойно спят, завернув головы на спины.

– Так, Степка, это интересно, ты знаешь, они спят, – говорил отец, отдавая бинокль, – давай-ка, побыстрее в скрадок. Позавтракаем, может, и проснутся. Да и солнышко скоро должно появиться.

– Слушай, сколько же их там. – восхищенно говорил Степка, не отрываясь от бинокля.

– Давай-давай, Степа, из скрадка их тоже хорошо видно. Он достал вареные яйца, разрезал огурцы по-вдоль, нашел соль и стал наливать Степке чай в крышку от термоса, и в это время прямо над ними раздались громкие гусиные крики. Гуси, видимо, спокойно заходили на посадку на их чучела, снизились и увидели охотников. С резкими, сильными

криками бросились они в разные стороны, а отец привычно кинулся за ружьем и тут же понял, что ружье он еще даже не собирал.

– Вот, черт, Степка, ружье-то. – голос его внезапно оборвался, а взгляд застыл. – Степа, блин, я его вообще забыл, – сказал он, а скорее выдохнул убитым голосом и опустился на ящик. Он ясно вспомнил, как во дворе у егеря взял чехол с ружьем из кучи вещей и отнес под навес от дождя. – Подумал, ведь, еще – не забыть бы. Елки-палки! Ну, я даю... – отец растерянно качал головой, – ну, ё-мое! – он не матерился при Степе и теперь только скрипел зубами.

– Забыл?.. – Степка по-детски полагался на отца в таких вопросах. Тот обычно что-нибудь придумывал, но... что же сейчас-то можно придумать? Степан совсем не готов был к такому. Он никогда еще не стрелял по летающей дичи и вчера, когда увидел, сколько вокруг гусей, подумал, что отец обязательно даст ему попробовать, но... отец забыл ружье.

Степа смотрел на отца, ожидая его решения... а тот, опустив руки, обреченно глядел куда-то вдаль, потом сказал спокойно, как будто ему было все равно:

– Вон одиночка летит.

Степа аккуратно высунулся над маскировкой, но ничего не увидел.

– Где?

– Над самой водой, метров сто от нас. Одинокий гусь летел, едва не касаясь воды, казалось, что он совсем не машет

крыльями, но приближался он быстро, и, глядя на него, отец понял, что взошло солнце. Грудь и шея гуся были чуть красноватыми. Солнце поднималось над дельтой, над камышами, прозрачным утренним золотом скользило по черной студеной воде, отражалось по ближним островам и проясняло небо. Только что безликий и серый сосновый лес на берегу нежно зазеленел, а по голубой уже глади озера поплыли редкие белые облака. Отец недоуменно присматривался. «Господи, хорошо-то как! – неожиданно подумал. – Сейчас солнышко согреет, высушит все, вон гуси летают, – за одиночкой тянулись еще несколько штук, – блин, и ружья нет». Он отвернулся от гусей. Но эта мысль уже не была такой обжигающей. Где-то внутри пережкнуло. Он сидел и тупо смотрел себе под ноги. «Это же надо – отмахать шестьсот верст, целый вечер строить скрадок под дождем... вокруг гуся – немеряно... и я сижу, как...»

Гусь между тем, не долетев совсем немного до чучел, раскрылся, сильно замахал крыльями, слышно было, как трещат перья, и, забороздив воду оранжевыми лапами, сел, ловко сложил крылья и завертел головой в разные стороны. Охотники замерли за своей сеткой, гусь был буквально в двадцати шагах, в него ничего не стоило попасть камнем, но у них даже камня не было.

– Совсем не боится, – прошептал Степа.

– Одиночка, пару ищет. Видишь, как охорашивается.

– Наверно, молодой.

Гусь несколько раз подряд окунул голову и крылья, окатил себя водой, встряхнулся и принялся поправлять перышки на груди.

– А-ка! – крикнул он вдруг громко и, повернувшись боком к чучелам, замер.

Охотники от неожиданности нагнули головы и тут же пригнулись еще сильнее, потому что прямо напротив них, громко, с шипением разрезая гладкую воду, плюхнулись еще шесть гусей. Эти вели себя иначе. Сразу как будто немного сплылись и замерли настороженно, совсем как чучела. Только волны вокруг, говорили о том, что они живые. Отец с сыном боялись шелохнуться, большие серые птицы были всего в десяти метрах. Степана колотило внутри, ему казалось, что если сейчас быстро побежать, главное не запутаться в маскировке, то гуси не успеют взлететь, и обязательно хоть одного, да схватишь. Но он боялся даже шевельнуться, только скосил глаза на отца и увидел, что отец тоже на него смотрит, скорчив страдальческую гримасу.

Гуси, опасливо поглядывая на их сооружение, потихонечку отплывали к дальнему краю островка. Следом за ними отправился и одиночка. Этот был совершенно спокоен и даже что-то потихоньку «гергекал». Отец осторожно повернулся к Степану и зашептал:

– Во дела! И ничего не... – с другой стороны островка раздалось еще несколько громких всплесков. Степа сунулся посмотреть, но отец остановил его: – Бог с ними, не пугай,

давай думать, что делать будем.

– Лук можно сделать. – видно было, что Степан как раз об этом думал, – или пращу.

– Пока ты ее раскрутишь, они улетят, да и камней здесь нет. Можно попробовать какие-нибудь силки поставить, но это тоже ерунда. – отец достал сигареты. – Надо ехать за оружием. Утро потеряем, но вечером, может.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.